Георгий Марков

# ОРЛЫ НАД ХИНГАНОМ




В
И





Георгий Марков

# ОРЛЫ НАД ХИНГАНОМ

Ордена Трудового Красного Знамени
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР
МОСКВА—1975

1*

Р2
М26

**Марков Г. М.**

М-26 Орлы над Хинганом. Повесть. М., Воениздат, 1975.

200 с.

Повесть «Орлы над Хинганом» рассказывает о боевой службе воинов-дальневосточников и забайкальцев в годы Великой Отечественной войны. Известный советский писатель Георгий Макеевич Марков в те годы служил в частях Забайкальского фронта. Большой жизненный опыт позволил ему создать правдивые, запоминающиеся образы.

М $\frac{70302-178}{068(02)-75}$ БЗВ-1-1975 Р2

## ОТ АВТОРА

У каждой книги своя судьба, своя история. Есть она и у моей повести «Орлы над Хинганом» («Солдат пехоты»).

Годы Великой Отечественной войны я провел на дальневосточных рубежах Советского Союза. Восемнадцатого июля 1941 года вместе с другими писателями Иркутска я пришел в горвоенкомат для получения мобилизационного предписания. Ни у меня, ни у моих товарищей по работе не было никаких сомнений относительно того, что путь наш лежит на запад.

Когда мы погрузились в вагоны, наш эшелон двинулся на восток. Как все советские люди, мы, писатели-сибиряки, были охвачены тогда одним желанием — скорее влиться в ряды Советской Армии и принять непосредственное участие в ее героической борьбе с фашистскими ордами, вероломно вторгшимися на нашу священную землю. То, что эшелон двигался в противоположном от фронта направлении, означало, что нам уготована какая-то иная воинская судьба. Так оно и случилось.

Двадцатого июля 1941 года политуправление Забайкальского военного округа, преобразованного с осени этого же года в Забайкальский фронт, направило меня в редакцию ежедневной красноармейской газеты в качестве специального корреспондента — писателя. Газета называлась «На боевом посту». Трудно было бы иными словами передать смысл нашего существования в Забайкалье, чем это передавалось названием военной газеты.

Ежечасно, ежеминутно быть на боевом посту — таков был патриотический долг воинов Забайкалья, всего Дальнего Востока.

В первые же дни войны с немецкими захватчиками стало очевидно, что их союзники на Дальнем Востоке —

японские империалисты будут делать все, чтобы осложнять и без того трудное положение Советского Союза. Забайкалье становилось не только школой подготовки боевых резервов для действующей армии, оно наряду с войсками Дальневосточного фронта принимало на свои плечи все тяготы, всю ответственность по защите неприкосновенности советских рубежей на Дальнем Востоке.

Более четырех с половиной лет прослужил я в редакции военной газеты. Войска Забайкальского фронта были разбросаны на огромном приграничном пространстве. Тысячи километров проехал я на попутных грузовиках и подводах, выполняя задания редакции.

Зимой и летом, осенью и весной, ясным днем и темной ночью, ни на минуту не ослабевала напряженная жизнь в Забайкальских войсках. Наши воины понимали, что вторая мировая война не завершится, пока не разрубится узел противоречий, возникший в результате захватнической политики японского империализма. Это придавало воинской службе в Забайкалье и на Дальнем Востоке особое значение, насыщало ее постоянным ожиданием значительных событий.

Как известно, такие события развернулись в августе 1945 года, когда Советская Армия, выполняя свои союзнические обязательства, обрушила на Квантунскую миллионную армию японцев сокрушительные удары.

Вместе с войсками Забайкальского фронта я участвовал в походе через Хинган, был свидетелем крушения и развала лучших соединений японской армии.

Таким образом, материал для моей повести скапливался по ходу самой жизни. Начал я ее писать по горячим следам событий. Первые фрагменты повести были опубликованы в октябре 1945 года в газете «Суворовский натиск». Однако повесть я дописал уже после демобилизации. Она была опубликована в журнале «Сибирские огни» и выпущена в свет Иркутским книжным издательством в 1948 году.

Мне думалось, что пройдет какое-то время и в литературе появятся новые романы и повести, посвященные подвигу советских людей на Дальнем Востоке. К сожалению, пока дело ограничилось несколькими названиями, и мне представляется, что эта тема остается поныне неисчерпанной. Но я убежден, что художники слова не оставят этот материал без внимания и рано или поздно он

найдет самое широкое освещение в разнообразных жанрах литературы.

Предпринимая переиздание повести, я не считаю возможным подвергать ее каким-либо коренным переделкам, хотя теперь, когда мой литературный опыт стал богаче, я мог бы, может быть, иные сцены написать лучше, глаже. Но книга эта, на мой взгляд, прежде всего важна своей достоверностью. Некоторая ее очерковость дорога мне потому, что она приближает повесть к жанру записок участника и очевидца событий. Что же касается обобщений, к которым, естественно, стремится каждый писатель, то трудно сказать, как, каким способом они достигаются. Я думаю, что мой рассказ о людях «в пределах батальона» даст читателю верное представление о чертах времени и особенностях морального облика советского человека, призванного Родиной на тот пост, который обеспечивал защиту ее великих интересов.

**Георгий Марков**





Часть первая

# В СОПКАХ ЗАБАЙКАЛЬЯ

## 1

Все перевернула по-своему война, всех задела, заглянула в каждый уголок, и малому и большому дала дело, и каждого заставила жить не как он хочет, а как ей, войне, надобно.

Не избежал этой участи и Филипп Егоров. И его настигла она на двадцатый день. Этот день стал в жизни Филиппа вехой: потекла жизнь по другому руслу.

А случилось все это так.

В знойный июльский полдень прибежал из военкомата запыхавшийся посыльный с повесткой. Филипп был уже наготове, начиная с памятного двадцать второго июня, ждал он этого со дня на день, с часу на час. Подумывал даже: не забыт ли он, сам справлялся в военкомате, но ушел оттуда успокоенный. «Помним о вас, потребуетесь — позовем», — сказал ему худощавый, смуглолицый военный, с покрасневшими от бессонницы глазами.

И вот свершилось то, что так ждалось, мерещилось все эти двадцать тревожных дней...

Филипп стоял у окна, смотрел на мигающие огоньки уплывающего в темноту города. Огоньков становилось все меньше и меньше, они мигали все реже и реже и наконец исчезли совсем. Из темноты в стекло стучались упругие струйки дождя и светлыми полосками, поблескивавшими от горевшей свечки, стекали за окно. Потом мелькнул высоко в небе ярко-красный огонек радиомачты и тут же загас.

Вглядываясь в темноту, Филипп подождал еще с минуту, надеясь, что огоньки появятся еще, но не дождался — окраины города кончились и начался лес, подступавший к самому полотну железной дороги.

— Всё. Всё. Кончено. Всё, — шептал Филипп, уже не видя даже окна, так как слезы застилали глаза и на губах от них было неприятно солоно.

Он и сам не знал, почему плакал. В душе его не было ни горечи разлуки с близкими, ни боли расставания с родным городом, ни страха перед неизвестным будущим. Все это было уже пережито и перечувствовано раньше. Сейчас ему было необыкновенно легко, просто, и тихая, безотчетная радость наполняла его до краев.

«Отчего тебе так хорошо? Не оттого же, что ты покинул надолго, а может быть и навсегда, дорогую семью, оставил любимую профессию и пустился в неизведанное?» — не без упрека подумал о самом себе, как о постороннем, Егоров. Но раскаяния от этой мысли он не почувствовал.

«А, да это предчувствие!» — ухватился он за новую мысль. Люди, бывавшие на войне, утверждали, что человек, которому суждено погибнуть, чувствует это задолго до смерти. Чувства же его, Филиппа, были светлыми, какими-то возвышенными, и он воспринял это как счастливое предзнаменование.

Он постоял несколько минут у окна, испытывая наслаждение от мысли, что впереди будет день его возвращения домой, и повернулся посмотреть, чем заняты товарищи.

Они сидели по полкам безмолвные, взгляд их был не то что притушен, а как бы обращен внутрь самих себя. Лица у них были задумчивыми, строгими, и печальная сосредоточенность проглядывала в каждой черте.

«Да, видно, и они переживают то же, что и я», — подумал Филипп, и мысль о предчувствиях, только что за-

нимавшая его, показалась ему вздорной. «Нет, тут дело не в предчувствиях, — продолжал размышлять он. — Люди едут защищать отечество, они берут на свои плечи судьбу народа, а сознание всего этого свято...»

Он отошел от окна и, не желая мешать товарищам, вскочил на верхнюю полку и лег лицом к стене.

И только лег, в памяти всплыли картинки из пережитого...

Двадцать второго июня он сошел с парохода по узкому, зыбкому трапу на крутой, изрезанный красными прожилками, высокий яр. Стояло тихое, светлое утро. Небо было нежно-голубое и бездонное.

Ночью над тайгой прошел дождь. Воздух был свежий, легкий, смешанный с запахом смолы, меда и земли. Зелень трав и березовой листвы, омытая дождем, стала еще нежнее, ярче и поблескивала, будто подернутая лаком.

Дождевая вода, скопившаяся в размытых ложбинах, уже отстоялась, и большие лужи, как огромные зеркала, отражали небо, деревья, разбросанные по берегу сараи и амбары пристани.

Филипп расспросил у рыбаков, суетившихся возле лодок, путь на опытную полеводческую станцию и не спеша зашагал по дороге, ведущей в густой сосновый лес.

Шел он долго. Местами лужи так разлились, что приходилось их обходить по лесу, петлять по гривам и холмикам. Путь до станции увеличился чуть не вдвое.

А день с каждым часом становился солнечнее. Уже припекало. Лес наполнился звоном: пели наперебой птички, без умолку строчили кузнечики, шмели кружились в воздухе с протяжным, однотонным жужжанием. Все живые существа выползли из щелей и потайных мест, в которых они спасались от дождя, и суетились сейчас на просторе, наполненном теплом и светом.

Взойдя по подсохшей дороге на горку, Филипп увидел впереди девушку в красном, светящемся на солнце платье и высокого кудрявого парня в вышитой белой рубашке-косоворотке, подвязанной пояском, в широких шароварах, спущенных на сапоги. Девушка и парень шли навстречу Филиппу, но не замечали его. Парень то и дело останавливал девушку и жадно целовал ее в губы, в глаза, в щеки. Она всякий раз обвивала его шею руками и радостно вскрикивала. И это счастье, которому они отда-

вались на таежной глухой дороге, таким было уместным, так сливалось со звоном, стоявшим над землей, с торжественностью, царившей в густом, величавом лесу, с неуемной суетней разнообразных живых существ, ошалело кружившихся в воздухе, что Филипп невольно усмехнулся и подумал: «Жизнь... Всюду жизнь...»

Парень и девушка прошли мимо Филиппа в пяти шагах, даже не взглянув на него. Они были опьянены своим счастьем — мир, звенящий, поющий, сверкающий тысячами красок мир, в эти часы существовал только для них, он безраздельно принадлежал только им...

Филипп поднялся на взлобок и не утерпел — взглянул назад. Не зависть, а какое-то другое чувство, трудно объяснимое, но более чистое, пробудилось в его душе при встрече с парнем и девушкой. Ему стало хорошо, радостно, радостно безотчетно, просто потому, что он движется, обоняет самые тонкие запахи, видит небо, лес, счастье других и живет сам в этом лучистом, звенящем дне как его миллионная частица.

Сам того не замечая, влекомый новым приливом сил, которые поднялись в нем вместе с этим ощущением слитности с окружающим миром, Филипп запел что-то бессвязное, но идущее из самых сокровенных глубин его души и зашагал еще быстрее.

Он прошел уже достаточно большое расстояние, но усталости не чувствовал. Полнота ощущений и преизбыток физических сил, которые сегодня владели всей его высокой, худощавой фигурой, несли его вперед и вперед.

Филипп остановился не скоро — солнце повернуло за полдень, сквозь лес проглядывали постройки, сооруженные из чистых ровных бревен, цвета топленого воска. Он одернул на себе легкий серый пиджак, поправил на ощупь галстук, очистил веточкой налипшую на ботинки грязь и направился в поселок.

Опытная станция была расположена на веселой лужайке, на берегу реки, поросшем черемушником и гибким ивняком. Все домики были новые, опрятные, с крашеными белыми наличниками, с маленькими уютными террасками и аккуратными трубами из красного кирпича.

На середине лужайки, огороженной новой оградкой, размещался метеорологический пункт: башенка с лестницей, флюгер на длинном шесте, два-три ящичка на невысоких деревянных подставках.

Лужайка была окружена густым лесом — сосняком и пихтачом. Должно быть, когда-то лес выходил к самой реке — десятки невыкорчеванных пней чернели между домами.

Филипп оглядел постройки станции, подумал: «На веселом месте пристроились» — и, тут же спохватившись, начал глазами искать посевы, размышляя про себя: «Ну, посмотрим, что они тут за пшеницу вырастили».

Нетерпение обуяло его, и он заспешил к станции чуть не бегом.

У крайнего домика Филипп увидел низкорослого мужика с черной окладистой бородой, в широкой рубахе без пояса, в клетчатых, тщательно разглаженных брюках, в желтых начищенных ботинках.

Подперев руками бока, тот стоял не шелохнувшись и, прищурив глаза, внимательно осматривал приближающегося незнакомца. «Как прифрантился!» — подумал Филипп, тоже внимательно осматривая мужика.

Еще на пароходе Филипп обратил внимание на одежду здешних крестьян. Прошло лишь пять-шесть лет, как появились в этой таежной стороне колхозы, а облик мужиков переменился. Теперь не было видно ни домотканых шабуров, ни бродней, исчез и дедовский обычай носить летом теплые бараньи и заячьи шапки-ушанки.

«Годков через пять проложат тут автострады, запустят на поля тракторы и комбайны, и тогда совсем не узнаешь прежних кержаков», — подумал Филипп.

— Здравствуй, отец! — приветствовал он мужика.

— Здоровенько бывал! — ответил мягким, вкрадчивым голосом тот.

— Скажите, пожалуйста, где живет директор станции?

— А вот домик под зеленой крышей, там они и проживают, — с готовностью ответил мужик, указывая рукой.

Филипп направился к домику под зеленой крышей, но директора не оказалось. Не было дома и сотрудников станции — агрономов. Рано утром они ушли на свои опытные участки, расположенные где-то в пихтачах.

В поселке было пусто. Ребятишки удили в заводи, под яром, женщины разбрелись кто куда: в лес за цветами, на поля, в поселок на базар. Филипп сел на пенек с понурым видом: директор и сотрудники станции вернутся с полей только вечером, а до вечера еще добрых пять-шесть часов.

Но в одиночестве Филипп просидел не больше получаса. Позади послышались осторожные шаги. Подошел мужик в клетчатых брюках.

— Не застали? Их с утра нету. И жди теперь не раньше полночи. Никанор Петрович, директор наш, днюет и ночует там, на поле.

Филипп, не вставая с пенька, повернулся к подошедшему, подумал: «Вот и хорошо. Начну разговор с тобой».

— А вы кем здесь служите? — спросил Филипп, приглашая мужика жестом руки присесть на соседний пенек.

— Сторожем я тут, с самого основания станции, — проговорил тот, но на пенек почему-то не сел.

Филипп взглянул на мужика и заметил, что лицо его, прежде спокойное, почти непроницаемое, было сейчас бледным, глаза смотрели с тревогой. Филипп не успел еще подумать о причинах этой перемены, как мужик заговорил вновь:

— Как, товаришшок, в год-два разобьем?

— Вы о чем?

— О германцах. Войной они пошли на нас. Города наши сегодня ихние самолеты бомбили. Радио вон у меня в избе только об этом и говорит.

Филипп посмотрел на мужика — не вздумал ли тот пошутить. Нет. К сожалению, нет. Бородатое, крупное лицо его было неподвижно хмуро, и добрые большие глаза под редкими, выцветшими бровями смотрели обеспокоенно и просяще, словно искали у него, Филиппа Егорова, опоры. Филипп встал, чувствуя, что сердце от этого известия вначале будто оборвалось, а потом заколотилось сильными, редкими ударами.

О чем он, Филипп Егоров, подумал в этот первый миг? О себе? О своей новой судьбе? Нет. Он вспомнил встретившихся ему в лесу парня и девушку. Они, должно быть, идут еще по таежной дороге, наслаждаются своим счастьем и не знают того, что над этим счастьем занесен смертный меч...

## 2

— Стоп, дальше ехать некуда!

Возглас прозвучал где-то за вагоном, когда поезд еще не остановился.

Филипп уже проснулся от сильного толчка, но подни-

маться не спешил, выжидая, не ошибка ли. Дневальные были неопытные, не привыкшие еще к четкому несению воинской службы.

Но на этот раз ошибки не было. За вагоном разговаривали:

— Товарищ капитан, когда прикажете разгружаться?

— Немедленно, Власов.

Через минуту в стену вагона забарабанили. Задремавший дневальный, услышав стук, заорал благим матом:

— Подъем, ребята!

Разбуженные тревожным криком, люди повскакали со своих мест и в страшной суете, мешая друг другу, принялись одеваться. Вскоре они выскочили из вагона и, не отходя от него, встали в ряд, в точности так, как их учили.

Была ночь. Темень стояла такая, что хоть глаз коли. Филипп всматривался в темноту, но разглядеть ничего не мог. Даже фигуры товарищей, с которыми он стоял бок о бок, потеряли очертания.

— И куда только нас завезли? Ни язвы не видно! — бранился кто-то.

— Да город-то где? Или тут нету города? — настойчиво допытывался другой голос.

— Город?! Рассвет наступит — увидишь, — сказал кто-то важным баском, и в тоне, которым были произнесены эти слова, всем послышалась угроза.

— А, гляди, как бы не провезли дальше, — попытался кто-то сгладить впечатление безнадежности от этого угрожающего восклицания. Но тот же басок, теперь уже с явным ожесточением в голосе, изрек:

— Провезут? А куда провезут? К черту на рога?!

Теперь уже никто ничего не посмел возразить, тем более что подошел начальник эшелона капитан Тихонов вместе с дежурным по эшелону и во всеуслышание сказал:

— Вот, товарищи, мы и приехали. Дальше ехать некуда. За сопкой, в трех километрах отсюда, граница. Давайте разгрузимся тихо, бесшумно, чтобы не привлекать внимания кого не нужно...

Что значило это «кого не нужно» поняли не все, и чей-то голос выразил общее любопытство:

— А что тут, товарищ капитан, город какой или какое другое селение?

Капитан почему-то засмеялся в ответ на этот вопрос, заданный вполне серьезно, и сказал почти то же самое, что все уже слышали:

— Вот наступит рассвет, и сами все увидите.

Обладатель баска тотчас же отозвался из темноты с торжествующей ноткой в голосе:

— Ну, что? Не то ли я вам говорил?

Начальник эшелона и сопровождающий его командир отдали старшему по вагону указания о разгрузке и удалились. По тому, как скрипела под их ногами земля, Филипп определил, что почва здесь песчано-каменистая.

Прислушиваясь к удаляющимся шагам командиров, он позавидовал их умению свободно двигаться в такой кромешной темноте. «Я бы и пяти шагов тут не сделал»,— подумал он о себе. Но это было преувеличением. Вскоре началась разгрузка. Из вагона пришлось вытаскивать тюки с продовольствием, оружие, корзины, наполненные посудой, тяжелые кипы каких-то бумаг.

Филипп, как и все остальные участники выгрузки, быстро освоился с темнотой и безошибочно сновал между вагоном и складом, устроенным прямо на земле, в ста метрах от железной дороги.

Работа по разгрузке протекала дружно и с сохранением возможной при таких обстоятельствах тишины. Но как ни были люди заняты работой, все с нетерпением посматривали на небо и ждали рассвета.

Еще задолго до рассвета совершенно неожиданно воздух наполнился треньканьем и протяжным писком. Тучи комаров, скрытые сумраком ночи, набросились на людей. Они были отвратительно липкие и ухитрялись проникнуть в уши, в нос, в глаза, роем облепляли руки, шею, забирались под одежду. Откуда они появились — было неизвестно. Можно было подумать, что их принес ветер, как он приносит тучи с ливнем и громом. Но над землей стоял покой, и на ветер не было ни малейшего намека.

— Вот это привезли, язви их, в местечко! — ожесточенно отбиваясь от комаров, ругался кто-то.

Филипп замотал шею платком, второй платок надел под пилотку, прикрыв им лоб. «Держись, Егоров», — мысленно сказал он себе, стараясь быть спокойным. Он убедил себя в том, что впереди предстоят тяжелые испытания, и решил не растрачивать сил на пустяки, беречь их

для будущего, которое рисовалось ему пока что крайне неясно.

Рассвет наступал медленно. Сумрак был вязкий, неприятно серый и расползался с трудом, нехотя. Но чем больше рассветало, тем сильнее щемило сердце у Филиппа, тем чаще слышались горькие возгласы.

Басок со своим «рассвет наступит — увидишь» настроил всех на мрачные мысли и безрадостные ожидания, но то, что люди увидели, превзошло даже самые худшие предположения.

Вокруг, насколько хватало глаз, тянулись песчаные сопки, чуть-чуть поросшие жидкой травой. Они были унылые, похожие одна на другую. Узкие извилистые долины поблескивали обширными плешинами. Вероятно, когда-то давно на этих местах были озера. Потом вода испарилась, и вместо нее остались бесплодные солончаковые пятна.

Да и небо здесь было совсем иным. Оттого что обзор местности был ограничен, горизонт смыкался с землей за первыми же сопками.

Облака тут висели низко, и казалось, что весь этот безрадостный клочок земли живет под каким-то стеклянным колпаком.

С первой же минуты Филипп почувствовал в себе желание подняться куда-нибудь на высокую гору и взглянуть за пределы этого колпака.

Когда после окончания выгрузки и отдыха раздалась команда о построении, Филипп встал в строй с большой охотой. Он знал уже, что жить им придется где-нибудь в другом месте, находящемся от железной дороги на значительном расстоянии, и ему хотелось скорее оказаться в движении, чтобы увидеть новые сопки и долины и развеять ощущение скованности, которое рождалось при виде неба, колпаком опустившегося над сопками.

Дорогой, после каждого поворота, Филипп жадно всматривался в даль. Но картина была однообразной и вызывала только тоску.

Шли по команде «Вольно», и в строю кто-то громко философствовал:

— А что, неужели, ребята, можно в этом краю прижиться и полюбить его не по службе, а так, добровольно, по расположению сердца? Ну места! Тут не токмо человек, зверь не станет жить. А все природа-матушка. Нет, чтоб по справедливости, поровну всю красоту поделить,

она взяла собрала ее в отдельных местах. Байкал-то какой! Век гляди и не налюбуешься!

В сознании Филиппа этот бойкий голосок врывался какими-то обрывками, отдельными фразами. Филипп думал о себе:

«Хватит ли у меня сил жить тут так, как надо. Место унылое, безлюдное... Какие удручающие душу сопки, а земля-то... Песок... песок... Даже в глазах от желтизны режет...»

От железной дороги было пройдено уже километров десять, когда из передних рядов, возле которых шагал капитан Тихонов, передали, что за следующей сопкой — остановка.

— А что — остановка на отдых или насовсем? — спросили из задних рядов.

Вопрос тотчас же передали из уст в уста и вскоре получили ответ, вызвавший оживленное обсуждение.

— Капитан сказал, что остановка будет на зимние квартиры...

— На зимние квартиры?! Стало быть, тут казармы, да и городок, наверное, какой-нибудь есть.

— Ну, ясно: раз на зимние квартиры, то уж точно городок, а казармы — это обязательно.

— Выходит, зазимуем здесь. Это что-то неподходяще. Там, на западе-то, без нас, пожалуй, успеют управиться...

— Да ведь как война там пойдет. Вишь, как он, немец-то, жмет.

— У него все наготове было...

Когда до сопки, о которой говорил капитан, осталась сотня-две шагов, разговоры в строю смолкли. Люди настороженно смотрели вперед.

Колонна обогнула сопку. «А где же казармы и городок?» — спрашивали друг друга бойцы.

— Ошибка! Капитан не об этой сопке говорил. Вот за той сопкой остановка, — успокоил кто-то. И все в это поверили.

Но почти в ту же минуту послышалась команда самого капитана:

— Направляющий, стой!

Колонна остановилась, и люди замерли, испытывая недобрые предчувствия. Капитан вышел к середине колонны, повернул строй лицом к себе, сказал:

— Товарищи, эта падь, — он энергичным взмахом

руки очертил полукруг, — называется Ченчальтюй. Тут мы будем жить и трудиться. Помните: у солдата родной дом там, где его рота, где он несет службу своему отечеству. Полюбите это место!

Капитан помолчал, намереваясь что-то добавить, но как бы придержал невысказанную мысль до другого раза.

— Рра-азойдись! — произнес он совсем неожиданно.

Бойцы были не готовы к исполнению этой команды и стояли еще несколько секунд без движения. Потом строй распался на мелкие группы, и над бойцами заструился сизоватый дымок цигарок.

«Полюбите это место! Легко сказать! Что же здесь можно полюбить?» — подумал Филипп, осматривая падь, окруженную голыми сопками.

Уже теперь, после такого краткого пребывания здесь, Филипп почувствовал, что его мутит от этого унылого однообразия.

«А вдруг тут придется жить и год и два? Надо стать ближе к людям, завязать с ними дружбу», — размышлял он.

Ему захотелось свое решение привести немедля в действие. Он окинул взглядом своих товарищей по эшелону, рассыпавшихся по пади. К кому подойти? Кому предложить свою руку на крепкую братскую дружбу?

Неподалеку от него стоял в группе бойцов молодой щупленький паренек, с виду совсем еще мальчишка. Это был Викториан Соколков, призванный в армию с первого курса историко-филологического факультета.

Еще дорогой, находясь с ним вначале в одном вагоне, а после перегрузки на большом железнодорожном узле — в одной теплушке, Филипп проникся к Соколкову уважением.

Филипп не дошел до Соколкова. Дорогу ему преградил высокий круглолицый детина с трубкой во рту, украшенной острым профилем Мефистофеля. Филипп посмотрел на детину, на его широкую грудь, подумал: «Богатырское здоровье».

— Не взойти ли на вершину сопки? Мрак на душе, — скорчив кислую гримасу, проговорил детина. По голосу Филипп опознал обладателя того самого баска, который в сумраке ночи зловеще кричал: «Рассвет наступит — увидишь!»

Чувство неприязни к этому человеку почему-то поднялось в душе Филиппа, но, взглянув в доверчивые и зовущие, прозрачно-голубые глаза детины, он поспешил заглушить это чувство.

— Что ж, можно и на сопку взойти. На душе действительно мерзко, — сказал Филипп.

Детина протянул ему руку:

— Будем знакомы: Шлёнкин Терентий.

— Егоров, — тихо сказал Филипп.

## 3

Земля была крепкая как железо. Тяжелый лом отскакивал и звенел. Филипп норовил ударить в щель, между камней, но это требовало удара точного, ловкого и удавалось не часто.

Рядом с Филиппом с кайлой в руках работали Соколков, Шлёнкин и с десяток других красноармейцев, с которыми Филипп был еще незнаком — они ехали в других теплушках.

Работа была тяжелой, требовала напряжения всех физических сил, но работающие оживленно разговаривали:

— Что я жил? Я жил — кум королю, племянник императору. Работал я в системе Всесоюзной конторы «Утильсырье» в должности разъездного ревизора. Семьсот целковых основное плюс командировочные плюс премиальные за перевыполнение плана, — рассказывал Шлёнкин.

— Квартирка у меня была — лучше некуда, в центре города, с паровым отоплением, с водопроводом, с ванной. Подкопишь, бывало, деньжонок, позовешь хозяйку: «Анастасия Илларионовна, готовьте обед на восемь персон, будут друзья и начальство». Соберется тут весь цвет: управляющий конторой, его заместитель, главный бухгалтер, все с супругами. Стол накрыт по всем правилам...

— Ты подхалим, Шлёнкин! Будь я твоим начальником, я бы выгнал тебя с работы за эти подхалимские штучки, — с возмущением сказал Соколков, перебивая Шлёнкина.

Шлёнкин осекся на полуслове, бросил на Соколкова рассерженный взгляд, горячась проговорил:

— Выгнал с работы! Что ты понимаешь? Ты еще бал-

ласт на государственной шее. Что ты полезного дал государству?

— А хотя бы то, что ни перед кем не подхалимничал!

Шлёнкин отвернулся от Соколкова, давая этим понять, что он не намерен считаться с его мальчишескими выпадами.

— Обед окончен, — продолжал Шлёнкин, — наготове полсотни пластинок. Поочередно провальсируешь с женами управляющего, его зама, главбуха. Попробуй одну из них пропустить! Потом упреков не оберешься. «Терентий Иванович, вы были вчера почему-то особенно внимательны к Клеопатре Арнольдовне (это жена заместителя управляющего). И чем только приворожила вас эта сухоребрая лошадь?» Ну, а пока вальсируешь, близится вечер. Билеты в оперетку у тебя в кармане. Ты их преподносишь гостям в качестве сюрприза. Дамы, конечно, в восторге. Кому из них не хочется лишний раз прослушать: «Сильва, ты меня не любишь! Сильва, ты меня погубишь!..»

Шлёнкин пропел это своим бархатистым баском, посматривая на всех окружающих с видом превосходства.

— И вот, извольте, после всей этой жизни — пустыня. И самое обидное то, что была возможность достать броню, но военкомат до того был нетерпелив, что оформить ее не успели...

— Неужели вы остались бы? — спросил Филипп, слушавший Шлёнкина с чувством нарастающего протеста.

— Конечно! Там я больше бы принес пользы. Какой из меня толк в армии? Я необученный. А как ревизор, специалист своего дела, я незаменимый.

— Незаменимых людей не бывает, — вставил кто-то из красноармейцев, без устали работавших лопатами.

Шлёнкин сделал вид, что не слышал этих слов:

— Уж такова жизнь: люди опытные, умелые полезнее для дела, чем необученные и незнающие.

Молчать дальше Филипп не мог.

— Вы не правы, Шлёнкин. Сейчас каждый человек, способный носить оружие, должен стремиться в армию. Родина в смертельной опасности. Нужно же наконец понять, что значат эти слова. Кто мы без Родины?

— Постой, постой, Егоров, ты мне здесь большую политику не подводи, — яро запротестовал Шлёнкин. — Потвоему выходит, что я не для Родины работал? А зна-

ешь ли ты, что нашей системой сам Совнарком занимался?

— Ну и что же? Что же из этого следует? Вы, вы лично, молоды, здоровы, воспитаны Советской властью, и ваш прямой долг встать на ее защиту. А нового ревизора — найдут. Уверяю вас.

— Найдут! — поддержал Филиппа веснушчатый, рыжеватый красноармеец Василий Петухов, работавший с кайлой в руках и до сих пор молчавший. — Я тоже был не на маленькой должности, — продолжал он. — Шесть лет ходил председателем колхоза «Красные зори». Колхоз — ничего себе, жить можно. В прошлом году одних зерновых выдали по семь кило на трудодень, да овощи были, да мясо, да мед, да деньгами по три рубля... Баланс тоже славный — миллион сто тысяч рублев. А вот нашли замену, из своих же, из бригадиров нашли. И мне можно было зацепиться за бронь, а только разве я утерпел бы? Тут враг на нашу землю лезет, а я сидел бы там! Да я бы и райком и военкомат разнес, а своего б добился.

— Ну вот ты и добился! Привезли тебя в забайкальские сопки, к черту на кулички, за десять тысяч километров от фронта. Воюй! — с ехидцей проговорил Шлёнкин.

— Придет срок — буду! — воскликнул Петухов и, ожесточаясь, заговорил так громко, будто выступал на митинге: — А обедами ты не хвались! Подумаешь, удивил — восемь персон! Я на сорок персон обеды давал, и костюмов у меня было шесть, и велосипеды у всех членов семьи были, и чего только у меня не было... Да у меня ли одного? У всех колхозников так было... Я так жене сказал: «Не жди меня. Раз немец хочет нашу жизнь распорушить, прятаться я от него не буду. Гордость мне этого не позволит».

— Э, да ты о фронте опять толкуешь! Будь я на фронте, и я бы по-другому пел, — поспешно проговорил Шлёнкин.

— А что бы вы там делали, необученный, не умеющий владеть даже винтовкой. Вы вон и лопатой-то не научились работать, а собираетесь воевать. Вас в первой же стычке отправят на тот свет, — послышался громкий, уверенный голос. Все оторвались от работы и увидели капитана Тихонова. Он подошел сюда никем не замеченный

и долго стоял молча, слушая разговор молодых красноармейцев.

Капитан Тихонов был невысокого роста, с крупным продолговатым лицом, с мясистым носом и пухлыми обветренными губами. Глаза у него были какого-то неопределенного цвета, пристальные, с усмешкой. Капитан щурился и частенько подергивал носом. Казалось, он к чему-то присматривается и принюхивается. Эта привычка была не из приятных, и капитан на всех, с кем он встречался впервые, производил впечатление бесчувственного службиста.

— Ну, пропал Шлёнкин, он ему сейчас покажет фронт, — толкнув Соколкова в бок, с ноткой сожаления в голосе сказал Егоров.

— Дернул же его черт подойти. Мы бы и сами поставили Шлёнкину мозги на место, — не прекращая работы, отозвался Соколков.

А капитан Тихонов, ссутулив плечи, продолжал между тем стоять возле Шлёнкина и все тем же громким, уверенным голосом говорил:

— Нет, нет, Шлёнкин, фронт гораздо сложнее, чем вы предполагаете. Фронт требует выучки, тренировки, знаний. А вы вот лопатой в землю тычете, и я вижу: сноровки у вас пока нет никакой...

Все бойцы ожидали, что капитан Тихонов после этих резких слов накажет Шлёнкина. Но, помолчав, капитан совсем спокойно сказал:

— Дайте мне вашу лопату.

Шлёнкин все еще стоял по команде «Смирно», с тем подчеркнуто неловким видом, который бывает у всех необученных бойцов. Он неумело, раскачиваясь всем туловищем, повернулся через левое плечо «кругом», поднял с земли лопату и подал ее капитану. Тихонов зачем-то подбросил лопату в воздух, схватил ее на лету, ощупал гладкий, будто отполированный, черенок.

— Смотрите, Шлёнкин, как нужно работать, — сказал капитан. — Лопату вы берете так, чтобы одна рука была ниже, а другая выше. Дальше, так как грунт здесь каменистый, вы лопату втыкаете не под прямым углом, как это бывает обычно, а как бы кладете ее. Ваша роль вспомогательная. Вы выбрасываете то, что наковыряли вам ломами и кайлами. Глубже вам не проникнуть, не тычьтесь зря и не тратьте свои силы попусту.

Тихонов нагнулся и быстрым движением рук показал Шлёнкину, как надо работать.

— А ну, попробуйте теперь вы, — сказал он, подавая Шлёнкину лопату. Тот принялся за работу.

— Вот хорошо! Хорошо! — с какой-то по-детски искренней и бурной радостью воскликнул Тихонов. — Только двигайте руками еще быстрей! Быстрей! Поддел — и в сторону! Раз, два! — Тихонов замахал руками в такт движениям Шлёнкина.

— Ну, вот и освоились! Наука хоть и не хитрая, а сноровки требует, — заключил Тихонов, продолжая наблюдать за работой Шлёнкина.

Когда Шлёнкин разогнулся, чтоб передохнуть, Тихонов взглянул на него и весело засмеялся:

— Употели? Жаркая работка!

Шлёнкин молча вытер рукавом лицо, стоял, тяжело отдуваясь. Тихонов переждал минуту-другую, пока Шлёнкин придет в себя, спросил:

— Каково самочувствие-то?

— Какое там самочувствие, товарищ капитан, — вяло сказал Шлёнкин, полузакрыв глаза.

Тихонов всмотрелся в Шлёнкина, заговорил с той ноткой участия в голосе, которая сразу настраивает даже незнакомых людей на задушевный разговор:

— Тяжеловато, знаю. Я-то здесь привык — восьмой год служу. А когда приехал — небо казалось с овчинку. Я попал сюда прямо из Ленинграда, из училища. Всю жизнь до армии я провел в большом городе, среди людей. Туго мне тут вначале было. Не скрою — случались минутки тягостные. Но ничего, все пережил, все преодолел... Что ж, надо! Да и кому надо? Народу, государству! Бывало, как подумаешь об этом — и тоска долой! Наоборот, даже гордость почувствуешь. Как-никак, мол, Тихонов, ты ведь на краю земли советской стоишь, ты страж ее. Как раскинешь вот так мозгами, смотришь, на душе у тебя светло, празднично станет, и ничто уже тебя не страшит...

Вступив в разговор с Терентием Шлёнкиным, Тихонов преобразился даже внешне. Его загоревшее на ветру и солнце крупное лицо необыкновенно одухотворилось. Глаза заблестели, резкие, грубоватые черты приобрели сосредоточенность и строгость.

— Вам раньше приходилось служить в армии? — спросил Тихонов.

— Впервые я... — еще более вяло промолвил Шлёнкин, как-то страдальчески вытягивая шею.

— Прожить почти тридцать лет на свете и ни одного дня не служить в армии... Как вам это удалось? По состоянию здоровья?

— Нет. Система хлопотала... Отсрочку от призыва давали, потом в терчасти зачислили, а уж тут проще простого. Летом надо на сборы идти, а мне командировочное удостоверение в зубы — и на периферию.

— Система системой, а вы-то полноправный гражданин, вам надо было возмутиться такими порядками. Ну, не беда, не отчаивайтесь! Все это дело наживное, сегодня вы — боец молодой, неопытный, завтра у вас будут и знания и закалка.

Тихонов посмотрел на Шлёнкина с доброй ободряющей улыбкой, которая как бы говорила: «Выше голову, дружище!», и хотел отойти.

— Товарищ капитан! — остановил его Шлёнкин. Тихонов задержался.

— Вопрос задать разрешите?

— Пожалуйста, товарищ Шлёнкин, — сказал Тихонов, настораживаясь.

— Видите ли, это даже не вопрос, а, скорее, просьба, — понижая голос, сказал Шлёнкин. — Довелось от бойцов слышать, что вы ищете писаря в штаб батальона.

— Да, писарь мне нужен.

— Я хотел просить вас назначить на эту должность меня, — стараясь смотреть Тихонову в глаза, сказал Шлёнкин.

— Кого? — зачем-то переспросил Тихонов.

— Меня, товарищ капитан, — поспешил Шлёнкин. — У меня есть некоторый опыт: в системе мне приходилось работать и делопроизводителем, и секретарем, и управделами. Даю слово — быстро овладею техникой.

Тихонов отступил на полшага и пристально вгляделся в Шлёнкина, будто видел его впервые. В глазах капитана запрыгали чертики. Можно было ожидать, что он закричит на Шлёнкина. Некоторые бойцы прервали работу — это были те, которым удалось невольно слышать этот разговор, — и напряженно ждали ответа Тихонова.

— Нет, Шлёнкин, взять вас писарем не могу, — неожиданно спокойно сказал капитан.

Шлёнкин кинул на Тихонова вопросительный взгляд.

— Вы ищете место, где бы вам было легче. Я не могу в этом пойти вам навстречу. Это не вяжется с общими интересами и вредит лично вам. Вы меня поняли?

Шлёнкин опустил глаза, пробормотал:

— Ваше дело, а только в системе никто меня не попрекал...

— Ну, этим не хвалитесь, — жестко сказал Тихонов. — Я не уверен, что это пошло вам на пользу... Приступайте к работе.

Тихонов быстро повернулся и пошел по линии, прочерченной лопатами и обозначавшей порядок расположения будущих землянок.

## 4

Бойцы не успели еще приступить к работе, как послышался крик капитана Тихонова:

— Винтовку мне! Винтовку!

Из палатки, стоявшей на склоне сопки, выскочил младший лейтенант Власов. Увидев его, Тихонов замахал рукой, громко крича:

— Голубь в воздухе! Стреляйте!

Бойцы не поняли, чем так обеспокоен капитан, и с недоумением смотрели на него. Они не обратили внимания на птицу, летевшую со стороны границы. Когда же та приблизилась настолько, что они могли увидеть ее прямо над собой, все решили, что Тихоновым овладел охотничий азарт.

Младший лейтенант Власов был маленького роста, плотный, круглолицый, с короткими толстыми ногами, но поразительно ловкий и шустрый. Он был проворен на работе, горяч и неутомим в пляске, и уже в дороге бойцы прозвали его вьюном.

Власов в одну секунду понял, что требует от него капитан. Он выскочил из палатки с винтовкой в руках. Еще до возгласа Тихонова «стреляйте!» он сообразил, что нести винтовку капитану нельзя — птица в это время скроется в небесах. Опустившись на колено, он приложил винтовку к плечу, взял птицу в оптический прицел и выстрелил. Пуля, должно быть, просвистела где-то возле

голубя. Он круто начал набирать высоту. Власов принялся палить раз за разом. После четвертого выстрела голубь перекувырнулся и, распуская крылья, стал падать.

— Глядите, чтоб не уполз в траву! — прокричал Тихонов, привлекая этим возгласом внимание всех бойцов, работавших по склону сопки. Самые дальние из бойцов кинулись к месту падения птицы и подхватили ее еще в воздухе.

— Осторожно с ней! Осторожно! — не унимался Тихонов.

— Что, товарищ капитан, суп теперь из нее варить будем? — шутливо спросил кто-то из бойцов, продолжавших думать, что Тихонов затеял ловлю голубя ради забавы. Тихонов не успел ответить, так как в ту же минуту боец, подхвативший птицу, удивленно крикнул:

— Товарищ капитан, у голубя на ноге колечко!

Бойцы, не бросая лопат, сгрудились возле Тихонова. Капитан осторожно взял голубя за края крыльев и, растянув их, долго рассматривал его. Потом так же осторожно он снял с ножки голубя металлическую оправку, сделанную в виде широкого колечка с застежкой, и вытащил оттуда клочок белого нерусского шелка. Тихонов торопливо развернул полоску шелка. Вся она была испещрена двумя столбиками цифр, написанных черной тушью.

Некоторые бойцы потянулись посмотреть на шелко́вку, но бдительность стала второй натурой Тихонова. Он зажал шелко́вку в руке.

— Голубь этот, товарищи, не простой, — проговорил Тихонов. — Он летел из-за границы, и, по-видимому, не с пустой вестью. Что это за весть — трудно сказать, но одно ясно: в наших краях бродят чужие люди, и нам надо быть начеку.

Бойцы посмотрели друг на друга, потом на Тихонова, и один из них простодушно признался:

— А мы-то, простофили, думали, что капитан эту птичку себе на жаркое ловит.

Бойцы поговорили о голубе еще несколько минут, и Тихонов приказал возобновить прерванную работу.

Разошлись без особого желания, и разговор о взволновавшем всех происшествии продолжался.

— Вот видел, Шлёнкин, что делается? — долбя землю ломом, говорил Егоров. — Ты о фронте мечтал, о западе, а, гляди, и тут нам найдется дело.

— Самураи — пакостная порода. Раз они в прошлые годы задирались, теперь от них хорошего не жди, — сказал Петухов.

— Шибануть их шибче надо. Мы им в тридцать девятом году на Халхин-Голе показали такой «банзай», что они и ног не унесли, — заговорил смуглолицый и веселоглазый Прокофий Подкорытов.

— Смотри, ребята, капитан куда-то на коне поехал,— сказал Соколков, приставляя ладонь к глазам.

Бойцы оторвались от работы. Тихонов ехал по пади на низкорослой рыжей лошадке, а вслед за ним, неловко подпрыгивая в седле, торопился коновод. По его мешковатой посадке чувствовалось, что коновод был из молодых бойцов.

— Наверное, он начальству шелко́вку повез, — высказал свое предположение Егоров.

— Скажите-ка: в этих местах кроме нас стоит кто-нибудь? — неопределенно махнув рукой, спросил Шлёнкин.

— Говорили, будто неподалеку дивизия стояла, да ушла на днях на запад, — проговорил Соколков.

— Выходит, что, если японец пойдет войной на Советский Союз, мы первые его встретим,— сказал Егоров.

— Выходит, так, — подтвердил Василий Петухов и, взглянув на Подкорытова, спросил:

— А что, Прокофий, японец силен, нет ли?

— Ну как тебе сказать, — против обыкновения вполне серьезно, без всяких чудачеств проговорил Подкорытов, — с нами их не сравнишь, но и шапками японца не закидаешь, братуха. Солдат у них обучен, втянут и, сказать по правде, драться умеет.

— Ну вот, обученных красноармейцев всех отсюда на запад угнали, а мы что? Ни то ни се, — проговорил Шлёнкин.

— Далось тебе одно: не обучены да не обучены! — живо отозвался Подкорытов. — Мы в тридцать девятом году на Халхин-Гол приехали тоже не бог весть какие. А как начали воевать, быстрехонько обучились. Бывало, как пойдем врукопашную, самураи повертывают и так улепетывают, что аж пятки втыкаются.

Подкорытов употребил тут несколько непечатных слов, от которых даже сумрачный Шлёнкин залился веселым смехом.

— Гляди, ребята, гляди, верховые! — воскликнул Соколков.

В самом деле, на вершине одной из сопок показались двое верховых. Должно быть, увидев их, Тихонов повернул свою лошадь и помчался к ним навстречу.

— Да это пограничники! Видите, макушки у фуражек зеленые, — щуря свои острые, веселые глаза, сказал Подкорытов.

Вскоре пограничники и Тихонов съехались, спешились и, оставив лошадей под присмотр молодого коновода, отошли в сторону и остановились, разговаривая.

Бойцам было теперь не до работы. Неотрывно они наблюдали за тем, что происходило там, на вершине сопки. Они видели, что вначале пограничники долго и внимательно рассматривали голубя и шелко́вку, потом они что-то рассказывали Тихонову, и тот часто вскидывал руками, а затем, нагнувшись, черенком плетки долго вычерчивал на песке какой-то чертеж.

Наконец, разговор закончился. Тихонов пожал руки пограничникам, и они вскочили на лошадей. Переждав, когда они скроются за сопкой, Тихонов сел в седло и помчался под гору, к своей палатке, с такой быстротой, что страшно было смотреть.

— Отчаянная головушка! — с мальчишеской завистью сказал Соколков. Егоров мысленно повторил его слова и подумал: «И скачет он так не из пустого азарта, как не зря он ловил этого злополучного голубя...»

## 5

Тихонов пробыл в палатке несколько минут. Он вышел оттуда вместе с младшим лейтенантом Власовым, голос которого разнесся по всей пади:

— Прекратить работу и построиться!

Работа у котлованов была начата недавно, и эта внезапная команда о построении всех озадачила.

Шлёнкин отбросил лопату и, встревоженно глядя на Филиппа, спросил:

— Что, Егоров, война?

— Черт ее знает, все может быть, — стараясь казаться спокойным, сказал тот.

Когда батальон выровнялся, Власов подал команду «Смирно» и обратился к комбату с рапортом:

— Товарищ капитан, батальон построен для следования на выполнение боевой задачи.

Тихонов осмотрел батальон придирчивым, понимающим взглядом опытного командира, негромко сказал:

— Вольно!

— Во-ольно-о! — протяжно и звонко прокричал Власов.

Однако бойцы продолжали стоять не шелохнувшись. Они слышали, как Власов, отдавая рапорт капитану, сказал: «Батальон построен для следования на выполнение боевой задачи», и ждали, что скажет Тихонов.

— Японцы подтягивают на нашем участке свои силы, — сказал Тихонов, поглядывая в сторону границы.— Может случиться, что они полезут на нашу землю, и тогда нам придется драться. Через час мы выступаем занимать рубеж. Проверьте и подготовьте оружие. Лица, окончившие высшие учебные заведения, ко мне, остальные — рра-азайдись!

Бойцы кинулись к своим винтовкам, стоявшим в разных местах в козлах, а Филипп Егоров и еще двое бойцов подошли к Тихонову.

— Военные дисциплины в вузе проходили? — спросил Тихонов одного из подошедших к нему бойцов.

— По болезненному состоянию здоровья в то время от сдачи военных дисциплин был освобожден, — ответил боец.

— Идите, — слегка кивнул головой Тихонов, давая бойцу знать, что разговор с ним окончен, и обратился к другому бойцу:

— А вы?

— Я заканчивал институт заочно, без отрыва от производства, и военных дисциплин не сдавал.

— Так. Идите, — сказал Тихонов и, проводив бойца взглядом, спросил:

— Ну, а вы, Егоров?

Филипп про себя отметил, что Тихонов обладает отличной памятью, так как помнит его по одному мимолетному разговору, состоявшемуся еще в дороге.

— Я сдавал все военные дисциплины, проходил трижды лагерные сборы, был аттестован на комвзвода после специальной стажировки, — проговорил Филипп.

— А почему вы призваны как рядовой? — спросил Тихонов.

— Не знаю, военкомат, — неопределенно пожав плечами, сказал Егоров.

— Ах эти военкоматы! Не научились еще они четко работать! — вздохнул Тихонов.

— А какова ваша гражданская специальность? — почему-то очень строго осведомился Тихонов.

— Я учитель географии и любитель-селекционер.

— Что же вы вырастили?

— Я пытался вывести устойчивые северные виды пшеницы, — торопливо сказал Егоров, понимая, что не это же главное в их разговоре.

— Вот как! Интересно! — с воодушевлением сказал Тихонов, и по его возгласу Филипп заключил, что, начнись этот разговор в каких-нибудь подходящих условиях, Тихонов с удовольствием пустился бы в обстоятельные расспросы.

— Ну вот что, географ и селекционер, — помолчав немного и в упор глядя на Егорова своими пристальными глазами, проговорил Тихонов, — вы приобретете сейчас еще одну специальность: я назначаю вас командиром третьей роты.

Егоров до того был этим изумлен, что в первые мгновения не нашелся что сказать. Он стоял молча, с полуоткрытым ртом, и краска заливала его узкое, худое лицо.

— Как, как... вы сказали? — заикаясь, с усилием произнес Егоров.

— Вы примете команду над третьей ротой, — повторил Тихонов.

— Но я... я и взводом-то только на стажировке командовал, — растерянно поглядывая на Тихонова, проговорил Егоров.

Тихонов как-то сразу нахохлился, отчего вид его стал крайне угрюмым и озабоченным.

— Иного выхода, Егоров, нет. Батальон сформирован, а командиров не хватает. Я сомневаюсь, чтоб нам прислали их даже в ближайшие недели.

— Но я же не имею ни опыта, ни знаний, — с предельной искренностью проговорил Егоров.

Тихонов расправил плечи, улыбнулся скупой, но по-детски чистой улыбкой. Глаза его засияли теплым, ласковым светом.

— Скажите, Егоров, ваше имя и отчество.

— Филипп Иванович.

— Вы знаете, Филипп Иванович, — тоном сердечного расположения произнес Тихонов, — я часто думаю о людях, которые совершали нашу революцию и зачинали строить Советское государство. Откуда они брали знания? Где они приобрели опыт? Ведь они были зачинатели, пионеры... Вспомните, в годы гражданской войны, вот сюда, в забайкальские сопки, партия прислала Сергея Лазо. В то время ему было двадцать четыре года от роду, в армии он был всего лишь прапорщиком, а партия поручила ему командовать целым фронтом. Нелегко, должно быть, приходилось ему...

— Ну что ж, я не отказываюсь, я готов, только б суметь, — сказал Егоров, когда Тихонов, умолкнув, взглянул на него.

Тихонов схватил Егорова за руку и крепко пожал ее.

— Да, кстати, вы партийный или нет? — спросил капитан.

— Член партии.

— Хорошо! Итак, товарищ Егоров, пойдемте, время у нас дорого, и я представлю вас роте.

## 6

Рубеж, который занимала рота Егорова, проходил через вершины двух сопок и с обеих сторон в глубине падей смыкался с участками других рот батальона. До узкой, трехсотметровой, нейтральной полосы, опаханной с советской стороны плугом, отсюда было едва ли больше двух километров.

Эти два километра представляли собой группу сопок, одна меньше другой, как бы ниспадающих к востоку. Линия границы проходила на этом участке по ровному и широкому плато. Особенно обширным плато было со стороны Маньчжурии. К северу оно простиралось до маленького маньчжурского городка Н., а к югу тянулось до трех больших сопок, стоявших полукругом и походивших на специально сооруженные форты.

Наблюдательный пункт Егорова был расположен на одной из самых высоких сопок. В глубоком окопе, похожем на гигантскую букву Т, слегка прикрытом изодранной маскировочной сеткой, возле стереотрубы стоял наблюдатель. В углах окопа с винтовками в руках располо-

жились бойцы боевого охранения. В центре окопа с биноклями в руках стояли капитан Тихонов и командир артиллерийского подразделения, приданного батальону вышестоящим командованием.

Артиллерист был молодой, щеголеватый. Фуражка его с черным околышем и красным кантом была сдвинута набок, под козырьком русыми завитушками торчал непокорный чуб. Артиллерист был на голову выше Тихонова и когда что-нибудь говорил капитану, то выгибал шею.

Егоров появлялся в окопе через каждые десять — пятнадцать минут. Он входил в окоп, осведомлялся у наблюдателя, нет ли чего нового, и когда тот, не отрываясь от стереотрубы, отвечал что изменений в секторе обзора не произошло, Егоров уходил обратно.

Третья рота, над которой Егоров принял командование, работала на западных склонах сопок, сооружая свои позиции.

Близость границы и неизвестность предстоящего настроили всех тревожно. Работали молча. Не было слышно ни певучего баска Шлёнкина, ни звонкого смеха Соколкова, ни степенного, рассудительного голоса Василия Петухова. Молчал даже Прокофий Подкорытов, любивший потешать бойцов анекдотами и частушками с самыми неожиданными концовками.

Егоров ходил то в один взвод, то в другой. Ему все казалось, что бойцы работают вяло, хотя он видел, что они долбят каменистый грунт с большим упорством.

— Быстрее, товарищи, надо работать, — сказал он бойцам в одном месте, но тут же усовестился своих слов. Бойцы работали и без того не разгибая спины. Нетерпение обуревало его, и, желая как можно скорее видеть сооружение обороны роты законченным, он сам брался то за лопату, то за лом.

Когда он после такого обхода взводов вновь вошел на наблюдательный пункт, то, несмотря на то что все в окопе было по-прежнему, почувствовал, что в секторе обзора произошли перемены.

— Изменения есть, Симочкин? — спросил он наблюдателя.

— В 16.52 по дороге Городок — артполигон проскакал всадник, в 16.57 туда же прошли две грузовые машины, — проговорил наблюдатель, не отрываясь от стереотрубы ни на одну секунду.

— Ну как, Орлов? — продолжая какой-то ранее начатый разговор, спросил Тихонов.

— Это люди, товарищ капитан.

— А ну, Егоров, посмотрите вы, — проговорил Тихонов и подал Филиппу свой бинокль.

Егоров приложил бинокль к глазам и долго вглядывался в сопки, раскинувшиеся от маньчжурского городка справа.

Вначале ему показалось, что Орлов ошибся. Вершины сопок были усеяны каменистыми валунами, и их легко можно было принять за людей.

Филипп собрался уже сказать об этом Тихонову, но вдруг один из таких валунов приподнялся и быстро передвинулся в направлении границы. Задвигались и другие «валуны».

— Японцы там передвигаются, товарищ капитан, — сказал Егоров. Тихонову, видимо, не понравилось, что Егоров сказал все это нервным тоном, и он посмотрел на него укоряющим взглядом.

— Как, Орлов, могут они нас угостить артогнем? — обратился Тихонов к артиллеристу. Орлов словно ждал этого вопроса. Он заговорил охотно, как говорят, впрочем, все специалисты своего дела, когда чувствуют, что их делом интересуются серьезные, основательные люди.

— На дороге Городок — артполигон показалась колонна войск, — прерывая негромкий говорок артиллериста, сказал наблюдатель.

Тихонов переглянулся с Орловым, кинул мимолетный, но значительный взгляд на Егорова и, подойдя к наблюдателю, прильнул к стереотрубе. Он смотрел в нее долго, несколько раз менял положение туловища и, зная, что Егоров и артиллерист с напряжением ждут его сообщений, вслух рассуждал о том, что видел:

— Так... Ясно... Движется второй эшелон... Склады, кухни, повозки с имуществом... Гм, вот вопрос: когда прошли основные силы?.. Ночью? Вчера? Сегодня? Симочкин, кто нес ночное дежурство? — спросил Тихонов, на секунду оторвавшись от своих наблюдений.

Услышав вопрос капитана, Симочкин вытянулся, прижимая руки к бедрам, доложил кратко, но по-военному исчерпывающе:

— Дежурил, товарищ капитан, я, боец Симочкин.

— Что было ночью?

— Ничего особенного. Раза три на дороге вспыхивали фары, но сразу же гасли. Время этих происшествий засечено и записано в журнале наблюдений.

— Хорошо, Симочкин, продолжайте наблюдать, — отходя от стереотрубы, проговорил капитан и подозвал к себе Егорова и артиллериста.

По узкому ходу сообщения они вышли из окопа и остановились неподалеку от него.

— Ну-с, обстановка ясная, — проговорил Тихонов, — утром могут начаться события...

## 7

Вечером на участке батальона Тихонова побывал генерал Разин. Он приехал на легковой автомашине вместе с комендантом укрепрайона полковником Дубовым. И генерал и полковник служили в этих местах пятнадцать лет и знали тут каждую сопку, каждый бугорок.

Случайно или намеренно, но произошло так, что вместо штаба батальона они попали прямо в роту Егорова.

Генерал и полковник осмотрели окопы роты, посетили наблюдательный пункт. Вскоре подоспел и капитан Тихонов, извещенный о появлении генерала по телефону. Тихонова генерал встретил дружелюбной улыбкой, говоря:

— Ты нас извини, капитан, что мы без тебя бродим по твоим ротам.

Тихонов в ответ на эти слова понимающе усмехнулся и, пожимая руку генералу, спросил:

— Как находите позиции этой роты, товарищ генерал?

— Позиции избраны правильно, и хорошо, что окопы полного профиля. У нас часто недооценивают это.

— Это молодой комроты постарался, — кивнув в сторону Егорова, проговорил Тихонов. Генерал посмотрел на Егорова таким взглядом, в котором было сразу и что-то строгое и ласковое, и спросил его:

— Давно командуете ротой?

— Первый день, товарищ генерал.

Тихонов рассказал историю с назначением Егорова на должность командира роты. Генерал выслушал, посматривая то на Егорова, то на Тихонова. Потом все они направились к бойцам.

Работа по сооружению окопов была уже закончена, и бойцы отдыхали, наслаждаясь наступившей вечерней про-

хладой. Говорили все об одном и том же: нападут ли японцы на Советский Союз? 13 апреля в Москве Иосука Мацуока подписал от имени японского правительства пакт о нейтралитете Японии.

— Самураям верить ни на грош нельзя! — говорил Подкорытов, к голосу которого в роте прислушивались, потому что имел Прокофий за участие в боях на Халхин-Голе медаль с огненными словами «За отвагу».

Увидев приближающегося генерала, бойцы дружно поднялись и встали по стойке «смирно». Генерал спустился в один из окопов, сел на бруствер, сказал бойцам, чтоб и они сели.

— Ну, как, товарищи, жизнь, настроение? — обратился генерал ко всем сразу.

— А настроение такое, товарищ генерал, — полезет японец на нашу землю, мы всыплем ему, как когда-то всыпали на сопке «Песчаная»...

— На сопке «Песчаная»? Откуда вы ее знаете?

— А я служил, товарищ генерал, в той самой дивизии, которой вы на Халхин-Голе командовали.

— Вот оно как! Старый знакомый! Ну, жму руку! — проговорил генерал и долго тряс Подкорытову руку. Лицо генерала просияло, спокойные глаза повеселели, и чувствовалось, что ему эта встреча так приятна, что он готов обнять бойца. — Вот видел, полковник, какой народ идет к нам! С таким народом нам никакой микадо не страшен. С таким народом, полковник, ты знаешь, мы... — Генерал закашлялся, выпуская изо рта клубок дыма, и не договорил, что же можно сделать с таким народом, но этого и не требовалось: бойцы без слов поняли мысль генерала.

— Ну, а ты еще не воевал? — спросил генерал с улыбкой, присматриваясь к Соколкову, юный вид которого не мог не поразить старого генерала. Соколков, обычно острый на язык и сообразительный, несколько растерялся:

— Не приходилось, товарищ генерал. По годам не выходило.

Генерал задымил трубкой, засмеялся, дружески или, скорее, по-отцовски потрепал Соколкова по плечу и принялся расспрашивать других бойцов — откуда, из каких мест они прибыли.

— Ты, смотри, полковник, какой народ идет к нам! То

инженер, то учитель, то студент, то председатель колхоза! Цвет народа, а?!

Генерал еще несколько минут поговорил с бойцами и поднялся.

— Тихонов, — обратился он к капитану, — ты вот что, на удобство своих позиций не надейся. Японцы мастера ночного боя. На Халхин-Голе они частенько этим нас допекали...

## 8

Тридцать лет прожил Филипп Егоров на белом свете, но такой ночи переживать ему не приходилось. Вскоре после того как уехал генерал, где-то за сопками, к западу от границы, послышался рокот моторов. Вначале у Филиппа шевельнулась мысль: уж не прорвались ли где-нибудь и не пошли ли в обход японские танки. Граница тут простиралась на многие сотни километров, и организовать ее оборону хорошо в одинаковой мере было немыслимо. Но скоро он успокоился: пришел Тихонов и сообщил, что это передвигаются на новые позиции наши танковые части. В дороге, продолжавшейся не один день, Егоров своими глазами видел сотни эшелонов, следовавших с востока на запад. Они шли с быстротой курьерских поездов и были загружены самолетами, пушками, танками и прочим военным имуществом. Если, несмотря на это, на востоке действительно что-то оставалось, то это означало, что правительство в свое время хорошо позаботилось о незыблемости советских восточных границ.

Близ полночи до расположения третьей роты донесся такой топот, что от него дрожала земля. Все бойцы всполошились. В кромешной темноте по неопытности можно было вообразить, что это, перемахнув границу, развернутым строем, с обнаженными шашками, скачет японская кавалерия.

Топот приближался и нарастал с каждой минутой. Когда из темноты прямо в район расположения роты вырвалось несколько всадников, Егоров переживал такое напряжение, что готов был отдать приказ об открытии огня. Он искренне обрадовался, услышав, как на окрик часовых, охранявших подступы к роте с тыла, послышалась русская речь. Он побежал к верховым узнать, что им нужно. Осветив кавалеристов ручным фонариком, Его-

ров увидел батальонного комиссара и с ним двух всадников в плащ-палатках. Батальонный комиссар спросил, как называется падь, за которой располагалась рота Егорова, и, ругаясь по поводу того, что кавалеристы уклонились в сторону, поскакал в темноту. Его молчаливые спутники со свистом замахали плетьми и помчались вдогонку. Вскоре топот замолк и установилась тишина.

И если рокот моторов и топот лошадей рождал тревогу и заставлял усиленно работать воображение, то и тишина не принесла никакого успокоения.

Было уже, наверное, недалеко до рассвета, когда вдруг раздался глухой, но довольно мощный взрыв. Он произошел не близко, но до сопок, на которых сидел батальон Тихонова, докатился содрогающий землю гул.

«Ну вот и началось!» — подумал Егоров. В том, что это было начало войны, а не что другое, он теперь нисколько не сомневался. В эту минуту грозного события ему захотелось почему-то повидать Витю Соколкова. Невзирая на разницу лет, а теперь и на разницу в служебном положении, Егорова тянуло к этому пареньку. Он бросился во второй взвод.

— Витя... Соколков... — почти шепотом, но тоном, полным невыразимого и большого значения проговорил Егоров. Соколков с готовностью кинулся навстречу Егорову.

— Филипп Иваныч... Товарищ комроты... — Они обменялись в темноте крепким рукопожатием, и Егоров побежал на командный пункт.

— Комбат не звонил еще? — спросил Егоров телефониста, неотрывно сидевшего у телефона.

— Никак нет, товарищ комроты, — ответил телефонист и опять приложил трубку к уху.

Ответ телефониста изумил Егорова. Он был убежден, что за короткие минуты его отсутствия здесь весь батальон пришел уже в движение и ему остается поднять свою роту. Но минуты текли, а все оставалось по-старому. Телефон попискивал, но звонка, того важного звонка от комбата, которого Егоров ждал не минутами, а секундами, все не было и не было.

После взрыва прошло не менее получаса, когда наконец полевой телефон запищал протяжно и взывающе. Егоров выхватил у телефониста трубку, притиснул к уху и замер как вкопанный: он узнал голос Тихонова.

Не слушая ничего, Егоров заторопился:

— Я «Ракета», я «Ракета»! — и приготовился выслушать то, что ему казалось уже неотвратимым. Но капитан звонил совсем по другому поводу.

— Ну, каков взрыв-то? Коза на наше минное поле забежала. Представляю, какой переполох сейчас у японцев... Почаще посты проверяйте, чтоб не задремал кто-нибудь...

Егоров отдал трубку телефонисту и засмеялся. Вот что значит неопытность! Недаром в армии любят повторять старую русскую пословицу: за битого двух небитых дают.

Только перед утром, когда сумрак стал понемногу редеть и Егоров почувствовал от непрерывных ожиданий усталость во всем теле, неожиданно телефон захрипел часто и требовательно.

— Вас, товарищ комроты, — проговорил телефонист, подавая Филиппу трубку.

Говорил Тихонов:

— Внимание, Егоров! Японцы начали продвигаться к нашей границе. Еще раз предупредите всех бойцов, что за стрельбу без команды — расстрел. И запрячьте всех до единого в окопы!

— Есть, товарищ капитан! — прокричал в трубку Егоров и бросился во взводы выполнять приказ капитана.

Прошло, пожалуй, не меньше часа, пока сумрак расползся по падям. Теперь не только в бинокль, а даже простым глазом Егорову хорошо было видно, как из распадков выползают колонны японских войск.

Когда основная часть людей, повозок и автомашин оказалась за пределами сопок, стало ясно, что это был пехотный полк со всеми приданными ему подразделениями. В конце одной из колонн двигались тупорылые пушки и несколько подвод с имуществом саперов и связистов. Глядя на стройные колонны солдат, на хорошо увязанные грузовики и повозки, на полевые кухни, дымившиеся синеватым кудрявым дымком, казалось, что японцы отправились в продолжительный поход и совершают его не у самой границы с Советским Союзом, а где-нибудь в глубине Маньчжурии, в полупустынной местности.

Но еще через полчаса, когда до границы осталось не больше километра, колонны начали дробиться, расползаться, и полк быстро развернулся в боевой порядок.

Отсюда, с советской стороны, наблюдали за всем, что происходило у японцев, с напряженным вниманием. Под-

корытов лежал рядом с Соколковым, припав к ложу винтовки. Он лежал не шевелясь, упершись крепкими ногами в каменистый край окопа. Соколков слышал, как Подкорытов скрипел зубами и посылал длинные и витиеватые матюки в адрес японцев. Сам Витя, смотревший вначале на все, что происходило возле границы, лишь с мальчишеским любопытством, чувствовал, как с каждой минутой в его груди нарастает злоба и нетерпение. Василий Петухов, разместившийся от Соколкова справа, то и дело прикладывал свою винтовку к плечу и с каким-то сожалением на лице опускал ее, вздыхая шумно и глубоко.

Егоров ощущал сейчас полное спокойствие. На душе была ясность, позволяющая думать трезво и о себе и о людях, во главе которых он был поставлен.

Мысль о смерти шевельнулась в его сознании, но не показалась страшной. «Чем же ты лучше тех, которые сегодня, как и вчера, умирают там, на западе? Ты во всем — и в правах и в обязанностях — равен с ними».

А японцы все приближались к советской границе. Глядя, как они смешно покачиваются на своих коротких ногах, малорослые, согнувшиеся под тяжестью походной амуниции, словно нацеленные одной невидимой рукой, Егоров с гневом припоминал сообщения газет о пограничных конфликтах. «Что им надо? Что им надо? Сколько лет они не дают нам покоя? Открыть по ним огонь и... в трибунал», — подумал он. Но сознание его не перешло еще той грани, за которой оно уже не в состоянии бывает управлять поступками человека. Кстати, протяжно запищал телефон.

— Еще и еще раз, Егоров, предупредите бойцов, — кричал Тихонов в трубку, — за самовольную стрельбу — вышка, да, да... и вам тоже вышка...

Голос Тихонова был совсем не обычный — спокойный и вразумляющий, а какой-то клокочущий, с визгливыми подголосками, словно кто-то сжимал ему горло. Егоров понимал, какие чувства теснились в душе капитана. Разве таким бы голосом прокричал он в трубку, доведись ему отдавать приказ об открытии смертоносного огня по этим копошащимся цепям японцев? Нет, у него нашелся бы и голос и воодушевляющие слова. Но не от него ли, не от Тихонова ли, слышал Егоров фразу: «Мацуока? Вы бросьте в подпись Мацуоки верить. Верьте в себя. Мир на востоке больше теперь зависит от нас. Японец надеется,

что мы тут ослабеем. Будет брать нас на испытку. Пусть обманется!»

«Пусть обманется! Да... Если это провокация — нас не спровоцируешь, ну а всерьез если, не жалей, Егоров, живота своего», — сказал сам себе Филипп. Он побежал по траншеям. Предупреждение Тихонова было своевременным. Вид у бойцов был настолько настороженным, взгляды их выражали такое беспокойство и в то же время решимость, что выстрел в японцев мог произойти в любое мгновение.

— Шлёнкин! Ты куда целишься?! — закричал Егоров, увидя, что боец приложился к винтовке и тщательно наводит ее на какую-то цель. Шлёнкин нехотя оторвался от винтовки, виновато улыбаясь, сказал:

— Примеряю, товарищ комроты.

— Оставьте, если не хотите, чтоб я вас наказал, — сердито бросил Егоров и побежал в третий взвод.

А японцы продолжали продвигаться вперед. Вот до границы осталось двести, сто метров, пятьдесят, а они все шли и шли. Вот они вступили на узкую нейтральную полосу. Теперь до советской границы оставались считанные шаги.

Вдруг японцы остановились и замерли.

Не менее четверти часа они стояли без движения. Можно было подумать, что они совершают какой-то религиозный обряд, ради которого шли сюда. Но вот крайние зашевелились, задвигались, и тотчас вся равнина ожила: зафыркали лошади, загудели грузовики, засуетились на своих коротких ногах маленькие, смешные человечки.

Японцы двинулись, но двинулись не на русскую землю, а вдоль нее, по самой кромке границы. Они шли все так же медленно, шли до самых сопок, замыкавших равнину высокой стеной.

Когда сопки преградили им путь, они вновь построились в колонны, и эти колонны, похожие издали на извивающихся змей, поползли по распадкам к востоку.

## 9

После этого случая еще трое суток просидел батальон Тихонова на сопках вблизи границы. Японцы больше не появлялись, но разве можно было поручиться за то, что

они не появятся и не вздумают углубиться на святую, политую потом и кровью многих поколений, прославленную и в трудах и в битвах, древнюю, но вечно юную русскую землю?!

Положение на советско-германском фронте с каждым днем осложнялось. Уже шли бои под Смоленском, враг блокировал Ленинград, на юге немцы осаждали Киев, Одессу, Севастополь. В ожидании сигнала большой войны против Советского Союза японская военщина дрессировала свои отборные банды на провокациях и пограничных стычках.

В те незабываемые дни августа — сентября сорок первого года на всем огромном протяжении советско-маньчжурской границы была отмечена особая активность японцев. Это никак не вязалось с выступлениями официальных государственных деятелей в Токио, которые продолжали ссылаться на верность пакту о нейтралитете с Советским Союзом. Советское командование, каждодневно видя действительную цену этим заявлениям, принуждено было увеличить в Забайкалье численность войск, ускорить их обучение, начать подготовку к зиме, что являлось делом настолько сложным и трудным, что оно одно, само по себе, требовало от советских воинов подвига.

Дни томительного сидения на границе всем надоели, и потому, когда батальон Тихонова вернулся в падь Ченчальтюй, бойцы с большой охотой принялись за земляные работы.

Хотя войны с японцами пока не случилось и бойцам не пришлось побывать в обстановке боя, пережитые дни как-то сразу сплотили всех, и батальон, созданный всего лишь несколько дней назад, производил уже впечатление сколоченного, повидавшего виды, поевшего немало солдатской каши и выпившего немало крепкого, прозванного чаелюбами «строевым», чая. Правда, бойцы батальона все еще не умели правильно поворачиваться кругом, нечетко докладывали командирам об исполнении приказа и на сборку оружия затрачивали времени в два раза больше, чем старослужащие красноармейцы. Но выход на границу в полной боевой выкладке был первым серьезным испытанием молодых воинов.

— Что ж, японцев мы теперь в глаза повидали, коли полезут на нас, нам с ними легче будет управиться, — говорили в батальоне.

Стояли знойные, необычайно длинные дни. Небо было таким высоким и прозрачно-голубым, что не верилось, будто когда-нибудь на нем могут появиться тучи, из которых забрызжет живительной влагой долгожданный дождь. В полдень над степью воцарилось такое спокойствие, такая тишина, что цепенели даже легкие, как пушинка, стебельки сизоватого ковыля. В пади Ченчальтюй, окруженной высокими сопками, температура в середине дня поднималась до шестидесяти градусов. Трава на склонах сопок выгорела, и земля зияла зигзагообразными трещинами. Временами в воздухе становилось так сухо, что люди хватались за грудь, не в силах дышать. Несколько бойцов-узбеков, попавших в батальон Тихонова по нарядам военкоматов Средней Азии, щурясь на солнце, вспоминали свою родину, смеясь над тем, что Сибирь, рисовавшаяся их воображению страной льдов, оказалась не менее щедрой на тепло, чем их благодатная Фергана.

Работать в такую жару было почти невыносимо, но не работать было нельзя. Вышестоящий штаб предписывал быстрее закончить сооружение землянок, клуба, гаража, складов и приступить к усиленной боевой учебе. Но сделать все это было невероятно трудно. Леса для строительства почти не было, его едва-едва могло хватить на поделку дверей, окон и настил крыши. Все остальное нужно было ухитриться сделать из земли и камней.

Целую неделю батальон Тихонова работал не щадя сил. Люди не то что не замечали жары, нет, не замечать ее было невозможно, так как солнце жгло немилосердно, — они уже втянулись в работу. Всех мучила жажда. В такой зной хотелось пить и пить бесконечно. Вода же выдавалась строго ограниченно — две фляги на день. Введение пайка на воду вызывалось не только соблюдением правильного питьевого режима, от чего во многом зависело состояние здоровья людей, — воды было вообще мало. Ее возили на лошадях из полевого колодца, расположенного от батальона в двух километрах. Вода сочилась из-под земли настолько медленно, что за ночь ее набиралось не больше четырех-пяти бочек. Больше половины забирала кухня, остальное делили между людьми и оставляли для лошадей и грузовика. А ведь кроме всего этого людям надо было умываться, стирать портянки, гимнастерки и носовые платки. О купании даже и не поминали — это было недосягаемой мечтой.

К концу недели вся черновая работа по отрытию котлованов была закончена. Тихонов обошел все котлованы, осмотрел их и остался доволен: бойцы потрудились на славу — котлованы были емкие, вместительные и возле них лежали груды земли, щебня, песка. Сюда же на машине и подводах подвозили глину, найденную в одном из распадков, неподалеку от расположения батальона.

Среди бойцов оказались бывшие строители — печники, каменщики, штукатуры, и они, посовещавшись с капитаном, принялись месить глину, подбирать камень, годный для кладки печей и стен, трамбовать полы.

Дня через два-три у некоторых землянок были выложены стены, и печники заложили основания для печей. По подсчетам Тихонова, требовалась еще неделя упорного труда, чтобы считать наконец всю работу законченной. Хотя этот срок и превышал тот, что был установлен вышестоящим штабом, все-таки окончание строительных работ было серьезной победой батальона.

Но все произошло не так, как думал Тихонов, не так, как планировал в своих бумагах штаб, и не так, как того хотели сами бойцы.

Прекрасный бывает забайкальская холмистая степь в час восхода солнца. Освеженная ночной прохладой, даже в знойную погоду она расстилается волнистым зеленым ковром, похожим при первых ломких солнечных лучах на море, неровные, пенящиеся волны которого катятся, догоняют одна другую и никак не могут догнать. В этот час скудная, наполовину выгоревшая растительность степи кажется богатой и обильной — ступи на нее ногой, и нога утонет в этой мягкой зеленой мураве.

Высокое и ярко-голубое, без единой тучки, просторное небо ласково — смотри на него час, другой и ни за что не насмотришься.

Как ни тихо бывает в это время по распадкам, по самой низине невесть откуда движется невидимый, ощутимый только кожей, поток свежести, которая приятно щекочет тело, врывается в легкие и вселяет в душу радость жизни.

Утренний подъем в батальоне Тихонова в этот день протекал дружно, организованно, уже без той неразберихи и суетни, которые непременно сопутствуют новым армейским подразделениям в первые дни их существования.

После пробега по подножью сопки и гимнастических

упражнений бойцы принялись за умывание. Умывальники не были еще устроены, и бойцы поливали друг другу из стеклянных фляжек, запрятанных в парусиновые чехлы. Воды и на умывание отпускалось очень немного, и потому ее расходовали бережно, стараясь использовать каждую каплю с большей пользой.

Наступал новый день... И как ни трудно было жить и работать в такой зной, при таких сжимающих острой болью сердце известиях с фронта, все-таки наступление нового дня встречалось шумной радостью. По всей пади Ченчальтюй слышался смех, плеск воды; человеческие голоса сливались с нарастающими с каждой минутой трелями жаворонков, которые пели так рьяно, с такой страстью, что, казалось, звенит сам воздух.

Тихонов поднялся вместе с батальоном. Он вышел из своей палатки, где временно размещался и штаб, и, пройдя шагов пятнадцать — двадцать, остановился, чтоб проделать утреннюю зарядку. Сбросив с себя нижнюю рубашку, он взмахнул раз-другой руками и опустил их, испытывая какую-то неловкость внутри. Тихонов принюхался к воздуху, закинув голову, посмотрел на небо. В воздухе витали какие-то новые запахи, напоминающие запах припаленной шерсти. Небо было, как обычно, ясным и высоким, только на юго-западе, над самым горизонтом, мутным пятном висела лохматая, похожая на непричесанную женскую голову, туча.

Тихонов подпрыгнул, широко разбрасывая ноги, и замахал руками, стараясь освободить грудь от этой неловкости, мешавшей ему дышать глубоко и свободно.

Вскоре подошел Власов. Он был в одних трусах, и его полное, коричневое от загара тело, освещенное ранним солнцем, поблескивало, словно лощеное.

— Кажется, на дождь повернет, дышится тяжело, — сказал Тихонов, когда Власов встал с ним рядом и, отбиваясь от комаров, принялся размахивать руками и ногами и крутить головой. Но Власов был гораздо моложе Тихонова, и ему еще не было дано этой способности чувствовать приближение перемен в природе. Он промычал в ответ на слова капитана что-то неопределенное и, изогнувшись так, что тело его изобразило букву Г, начал проделывать руками легкие, пластичные движения. Потом Власов, вытянув вперед свои сильные руки, упрямой бычьей походкой пошел на Тихонова, и они, сцепившись, пыта-

лись то поднять друг друга, то столкнуть с места, то повалить на мелкий, будто просеянный сквозь сито, песок.

После завтрака батальон приступил к работе. Тихонов подписал кое-какие бумаги, заранее приготовленные Власовым, исполнявшим временно должность адъютанта старшего, и направился к котлованам. Ощущение неловкости в груди не проходило, и он впервые с тоской подумал: «Старею, что ли?»

А день уже разгорался, набирал силы. Час от часу воздух становился гуще, горячее, и по тому, будто окаменевшему спокойствию, которое царило над землей, чувствовалось, что день будет небывало знойным и тяжким.

Но часов в десять утра вдруг над одной из сопок поднятый вихрем взметнулся в небо столб рыжей степной пыли. Он с легкостью и стремительностью пронесся по горбатому хребту сопки, перескочил на другую сопку и, промчавшись по ней, рассыпался в воздухе на несколько бешено крутящихся мячей.

Еще через пятнадцать — двадцать минут эти мячи запрыгали по всей степи. Воздух сразу заполнился мельчайшей пылью, и вокруг стало серо и сумрачно. Желтое, лучащееся солнце поблекло и вскоре приобрело цвет жженого кирпича. Теперь становилось буквально нечем вздохнуть. Поднятая вихрем пыль лезла в глаза, забивала ноздри, хрустела на зубах.

Многое уже повидали бойцы батальона Тихонова за те недолгие дни, которые провели в Забайкалье, но то, что совершалось сегодня, было им еще в новинку. Они не знали, что этот сухой ветер, перемешанный с пылью, является страшным предвестником надвигающихся монгольских суховеев. Если внезапно не прорвется сюда дождь и не приостановит это горячее дыхание раскаленной степи, суховеи будут дуть неделю, две, месяц. Они испепелят землю, поднимут в воздух тонны песка и будут кружить его, бросать, наметая серые сугробы; они будут с остервенением хлестать людей по лицам, рассекая до крови кожу и забиваясь в глаза. А солнце будет жечь попрежнему, и при температуре в шестьдесят градусов вся эта взбаламученная степь станет настоящим адом.

Тихонов подозвал Власова, и тот, подходя еще, заговорил о том же, о чем собирался сказать капитан:

— Суховеи начинаются, товарищ капитан. Беда, если надолго.

— Да-а, — протянул Тихонов, пожевав губами, и, помолчав, озабоченно спросил:

— А как у нас, Власов, колодец плотно закрыт, не забьет его песком, не останемся мы в эту чертову погодку совсем без воды?

— Я уже послал туда, товарищ капитан, старшину третьей роты с двумя бойцами, приказал им закрыть колодец плотно досками, а на доски положить побольше камней, чтоб не унесло их ветром.

— Воды, Власов, надо с завтрашнего дня прибавить бойцам. Выдавайте три фляжки. Иначе можем погубить людей. Раз в сутки посылайте грузовик на разъезд. Пусть привозят оттуда.

— Горючего, товарищ капитан, нету. Осталось полтонны мобзапаса.

— Мобзапас не трогайте. Японцы полезут, а нам не на чем будет боеприпасы подвезти. Сократите расходование воды на кухне. Повара льют воду когда надо и не надо.

Тихонов собирался что-то сказать еще, но налетевший вихрь с таким ожесточением ударил его по лицу, что он весь сжался, не замечая даже, как новый порыв ветра сорвал с него фуражку и понес ее по распадку.

Власов, закрывая глаза ладонью, кинулся за фуражкой и, быстро нагнав ее, придавил ногой. Тихонов стер пыль с загоревшего, совсем красно-медного лица, проморгался; отфыркиваясь и отдуваясь, поспешил за Власовым. Приняв от младшего лейтенанта фуражку, Тихонов нахлобучил ее до самых глаз. Они постояли еще минуту-две, весело и заразительно хохоча над всем происшедшим, и направились разными дорогами: Тихонов — на кухню снимать пробу с обеда, а Власов — в первую роту, заступающую в этот день в наряд.

А ветер не только не унимался, а все больше и больше нарастал. Когда бойцы пришли на обед, степь уже кипела от множества вихревых столбов и скачущих рыжих мячей.

Надо было обладать большой хитростью, чтоб суметь пообедать в такую погоду, не накормив себя вдоволь пылью и мелкой галькой, которая при каждом порыве ветра взлетала в воздух с легкостью птичьих перьев.

Шлёнкин и Соколков ели из одного котелка. Шлёнкин растянулся на земле, поворачивался и так и этак,

стараясь своим крупным телом отгородить котелок от ветра. Но это ему не удавалось. Ветер вздымал пыль то позади него, то впереди, то где-то сбоку, и Шлёнкин, отчаявшись, перестал наконец крутиться и принялся за еду, ворчливо бубня:

— Сведут меня в этом распрекрасном месте в могилу... У меня ж язва желудка начиналась. Три раза от системы путевки на курорт получал. Вот, пожалте, камень какой занесло! Ты смотри, Соколков, в нем свободно двадцать граммов будет. Попадет такой в пищевод, и заказывай, Шлёнкин, поминки...

— И что ты так за свою жизнь дрожишь, Шлёнкин?! В такое время люди подороже тебя погибают, — сказал Соколков, зная, что Шлёнкин рассердится и понесет о своих заслугах перед «системой», которые здесь, в армии, и знать даже не хотят.

Что касается его, Соколкова, то он чувствовал себя прекрасно. Чем труднее становилось жить на границе, тем все сильнее и сильнее душа его рвалась навстречу трудностям. Тогда, в обороне, когда японцы вышли побряцать оружием, Соколкову хотелось, чтоб они пошли дальше, чтоб наши части зажали их в тиски и показали, как играть с огнем. Правда, в отличие от некоторых других бойцов, которым потом комроты дал по пять нарядов вне очереди, Соколков не высовывался из окопа посмотреть на японцев, он не примерял своей винтовки к живой цели, послушно сидел в окопе, ожидая команды, но в душе его не было никакой робости, и он рвался в бой всем своим существом.

Изнурительные земляные работы под знойным солнцем утомляли его не меньше других, но он не переставал тянуться к чему-то более трудному и по-прежнему был весел, деятелен и жаден до жизни. Начавшиеся суховеи не испугали его. Это было новое, а все неизведанное влекло его, захватывало, как интересный роман. Дома и в школе, в пионерском отряде и в комсомольской организации его приучили не бояться трудностей, интересы общества, государства, товарищей ставить выше своих личных интересов. И он следовал этому всюду и во всем, потому что иначе поступить не мог.

Отец Соколкова был старым партийным работником. То секретарем райкома, то парторгом ЦК на стройках, он исколесил самые отдаленные уголки страны. Покончив

с одним строительством, он ехал на другое. Назначая его на новый пост, ему рассказывали о трудностях и условиях работы где-нибудь в Норильске, или в Бодайбо, или в Комсомольске. Он внимательно выслушивал и с шутливой серьезностью спрашивал: «Ну, а Советская власть там есть? Советские люди там есть? Есть?! Так в чем же дело? Выписывайте путевку!»

После этого, возбужденный, громогласный, он являлся домой и с порога еще радостно кричал своим пятерым сыновьям-погодкам, старшим из которых был Викториан: «А ну, братва, собирайся в поход!» Жена только руками всплескивала: «И что тебе не сидится на месте? Едва-едва обжились тут». И Соколковы ехали, порой по месяцу, по два, ехали на всех видах транспорта, начиная от самолета и кончая вихреподобной упряжкой быстроногих оленей, прежде чем попадали к месту назначения.

И Витя своим детским чутким сердцем познавал ту великую правду, в которую отец его верил необоримо, всей силой своей страстной души: была бы Советская власть, были бы советские люди, а жизнь, жизнь не может не быть увлекательной.

К тому же он был романтик, этот бывший студент и молодой воин, Викториан Соколков! Он жил, учился, работал, будучи чуточку то Павкой Корчагиным, то Левинсоном, то Фурмановым, то Чапаевым, смотря по обстоятельствам.

Сейчас, когда нещадно жгло солнце и в степи буянил суховей, он воображал себя немножко Пржевальским, пересекающим необозримые, безводные пространства Азии, или тем ученым из кинокартины с позабытым названием, который проник в Каракумы, исследовал их и создал в песках волшебные зеленые оазисы. Ученый сотворил это чудо пока на экране, это была еще его мечта. Ну что ж! Витя хотя и прожил немного, но не раз своими глазами видел, что в его время и в его стране мечта, самая смелая мечта, могла быстро стать живой реальностью.

И потому ему было смешно и забавно слышать брюзжание Шлёнкина. Вначале Соколкова это так злило, что он не мог спокойно разговаривать с товарищем, теперь же Шлёнкин со своей непомерной заботой о самом себе вызывал у него веселую усмешку и желание подтрунивать над ним.

— Ты вот, Шлёнкин, расскажи лучше, как в «системе» банкеты устраивал? Гляди, вспоминая, и покушаешь в свое удовольствие, — заливаясь звонким, веселым, мальчишеским смехом, говорил Соколков. Маленькое, в веснушках лицо его облупилось от солнца и было пестрым, как сорочье яйцо. Ясные глаза Соколкова лучились, и в них было столько жизни, столько радостного, буйного веселья, что казалось, будто оно, это веселье, каскадами искр брызжет из его глаз.

Шлёнкин, конечно, понимал, что Соколков часто разговаривает с ним в ироническом тоне. Но черт с ней, с иронией, пусть бы только слушали его рассказы о том благословенном и невозвратном времени, когда он, Терентий Шлёнкин, тоже кое-что значил!

— Вот, Витя, когда я работал в «системе», приехал к нам однажды представитель из Москвы, из главка, — заговорил Шлёнкин. — Дела у нас шли неплохо, и после ревизии наш управляющий решил дать в честь столичного представителя банкет. Для этой цели я, как главный распорядитель вечера, откупил малый зал ресторана «Золотая тайга». Вот это был банкетик! Чего только не было на столах!

Тут красивый, грудной басок Шлёнкина перешел почти на шепот, и он с таким увлечением стал расписывать убранство столов, обилие блюд, разнообразие вин, что и в самом деле забыл о бесновавшейся песчаной пурге и зное, который становился уже совершенно непереносимым.

Повествование Шлёнкина было вдруг прервано резким возгласом капитана Тихонова:

— Кончай обедать, надвигается ураган!

Бойцы и командиры, сидевшие возле котелков, вскочили. Из-за горизонта к зениту, к помутневшему в месиве песчаной пыли солнцу, быстро поднималась туча. Она поднималась так быстро, что казалось, будто кто-то подталкивает ее снизу. Туча была черной и походила на обугленную степь после прогулявшегося по ней весеннего пала. Рваные края туч напоминали гигантские лапы сказочного чудовища, которые то сжимались, то вытягивались, как бы в поисках добычи. Вокруг тучи кипели, как вода в котле, синие с белесоватым оттенком небольшие облачка. Ветер стал на короткие промежутки стихать, но после затишья срывался как бешеный и дул с такой силой, что в воздух взлетали даже камни. Теперь

по степи носились не рыжие мячи, как было полчаса назад, а огромные, похожие на высокие каменные стены, шатры. Когда они, поднявшись с земли, в стремительном беге неслись по простору, мерк белый свет; солнце, не перестававшее кипеть густо-оранжевым светом, скрывалось за этими шатрами, и сумрак покрывал степь.

Тихонов собрал командиров рот и взводов. Правда, и командиров-то было раз-два и обчелся. Надо было, не теряя ни одной минуты, закрыть плащ-палатками оружие, боеприпасы и продовольствие, укрепить палатки, в которых находилась штабная переписка и кое-какое штабное имущество. Уж кто-кто, а он, Тихонов, знал, что коли приходится лихо от сухой пурги, то не приведи бог, если в этакий ветер хлынут с неба потоки воды.

Командиры тотчас же развели подразделения по указанным местам. Но было уже поздно. Разрывая черную тучу, вспыхнула ослепительно ярким зелено-голубым светом молния и раздался такой удар грома, будто все небо, весь песок и камень, поднятый ветром, с невообразимой тяжестью рухнули на землю. Земля задрожала и заколыхалась, словно этот удар выбил ее из орбиты и она полетела куда-то в преисподнюю. Люди, ослепленные молнией и оглушенные ударом, упали на землю, сжимаясь и стремясь быть поближе друг к другу.

Егоров шел во главе своей роты, но и он, подчиняясь тому же чувству самосохранения, которое испытывали все бойцы, кинулся на землю. Через несколько секунд он приподнялся, но раздался новый удар грома, еще более оглушающий, и Егоров вновь опустился на траву. Больше он уже подняться не мог: не хватало сил. Теперь вспышки молнии следовали одна за другой, а удары грома слились в протяжный грохот. Молнии блистали совсем близко, над головами, и у каждого было такое ощущение, что чуть приподнимись — и молния ударит прямо в тебя.

Через минуту-другую в грохот, который расстилался по всей степи, вторгнулся заунывный, все нарастающий шум — приближался ливень.

Заслышав этот шум, Филипп понял, что для дела, на которое их послал капитан Тихонов, остаются минуты. Он решил подняться, каких бы усилий ему это ни стоило. Вскочив на ноги, Егоров почувствовал от первой же вспышки молнии мерцание разноцветных радуг в глазах. Протирая глаза пальцами, чтоб скорее освободиться от

цветового ослепления, он приказал роте подняться. Но бойцы и без этого приказа, заметив, что он встал, начали вскакивать с земли.

Преодолевая свирепые удары ветра, подавляя в себе страх перед непрекращающимися взблесками молнии и грохотом грома, бойцы бросились на косогор, намереваясь собрать все имущество в кучу. Но неожиданно подоспел капитан Тихонов.

— Отставить! Выгружайте все, что в котлованах, на косогор, иначе затопит водой. В первую очередь взрывчатку, боеприпасы, продукты...

Эти последние слова Тихонов выкрикнул откуда-то со стороны. Его самого уже не было видно. Плотная, как темная материя, непроницаемая, как осенняя ночь, песчаная завеса поглотила его, и он исчез в ней, словно распался на такие же скачущие и вертящиеся песчинки.

А шум ливня все приближался. Дождь бушевал уже за соседними сопками. Прошло еще несколько минут, и ливень передвинулся в падь Ченчальтюй. Вернее, он не передвинулся, а ворвался с необузданной, все сокрушающей силой. На падь Ченчальтюй хлынули с неба такие потоки воды, будто все реки неожиданно переместились с земли на небо и, не удержавшись там, ринулись на поиски своих прежних русел. Потоки воды падали с такой силой, что люди сгибались под их тяжестью. В несколько минут в пади образовалась быстрая, непокорная, похожая на горный водопад, речка. Котлованы также быстро стали наполняться водой, и в некоторых из них всплыли чемоданы, бумаги, тряпки.

Рота Егорова, как и весь батальон, не щадя своих сил, спасала прежде всего то, без чего не могла она существовать тут, возле границы, рядом с японцами, — свое оружие и боеприпасы. Часть ящиков была уже перенесена из котлованов, но там еще оставалось немало патронов, запалов для гранат и весь запас мин. Воды в котлованах было теперь уже столько, что нужно было погрузиться в нее с головой, чтобы вытащить ящик, или мешок, или тюк.

В первые же минуты бедствия нашлись смельчаки, бросившиеся в котлованы, наполненные водой. Это были Соколков, Подкорытов и расторопный, всегда молчаливый и застенчивый, а потому и менее заметный, чем другие бойцы, Леша Симочкин, в прошлом сельский маслодел из Омской области.

Вскоре с дождем начал падать крупный, размером с голубиное яйцо, град. Он так больно хлестал по лицу, что невольно хотелось укрыться в щель. Но укрыться было негде. То и дело скрываясь под водой, Симочкин выволакивал на поверхность то ящик, то узел, то тюк. Он делал это ловко, быстро, и можно было лишь подивиться тому, откуда у этого юноши берется столько силы. Бойцы, стоявшие на краю котлована, моментально подхватывали то, что Симочкин доставал из воды, и выносили на косогор. По соседству с котлованом, в котором трудился Симочкин, так же горячо работали Соколков и Подкорытов.

Даже Шлёнкин, неповоротливый, медлительный Терентий Шлёнкин, сопя, как буйвол, был захвачен водоворотом всей этой жаркой работы и выказывал такое проворство, что совершенно был не похож на себя.

Вода в котлованах прибывала с каждой минутой. Она падала теперь не только из тучи. Ручьи, катившиеся с сопок, местами проточили стенки, возведенные из земли и камня, и с шумом наполняли котлованы.

Котлован, в котором находился Симочкин, наполнялся особенно быстро. Чтобы не наглотаться воды, Симочкин вытягивался, запрокидывал голову.

— Симочкин, держите веревку и выбирайтесь наверх! — крикнул капитан Тихонов, успевавший в эти короткие минуты побывать во всех ротах. Симочкин погрузился в воду с головой, выволок со дна котлована еще один тюк. Бойцы подхватили тюк и вынесли на косогор.

В это время, размытая дождевыми струями, острыми как буравчики, в котлован рухнула метровая стена, сложенная из тяжелого степного булыжника. Симочкин сделал усилие освободиться от тяжести и подняться. Но это было выше человеческих сил.

Егоров схватился за веревку и, скользя по ней, прыгнул в котлован. За ним поспешили несколько бойцов. Захлебываясь и отфыркиваясь, они принялись высвобождать Симочкина из-под камней.

Когда наконец они подняли его из воды и бойцы, находившиеся наверху, вместе с Тихоновым бережно приняли Симочкина из котлована, он был уже недвижим.

Ливень быстро прекратился. Молния блеснула еще раза два-три, но уже прежней силы в ней не было. Раскаты грома тоже стали менее грозными и оглушительными. Туча поспешно уходила к востоку. Только по-прежнему

буянила катившаяся по распадку мутная, с шапками желтой ноздреватой пены река дождевой воды.

Ничто — ни нашатырный спирт, ни искусственное дыхание, ни другие манипуляции, к которым поочередно прибегал батальонный лекарь-санитар, заменявший отсутствовавшего до сих пор врача, помочь уже не могли. Симочкин лежал мертвый.

Весть о его гибели моментально донеслась до других рот. К котловану, возле которого лежал в мокрой, испачканной грязью одежде Симочкин, потянулись со всех сторон уставшие, взволнованные известием бойцы. Гроза уходила все дальше и дальше, и над степью вновь засияло солнце, щедро разбрасывая свои лучи. Возле тела Симочкина собрался весь батальон. Подвиг бойца пересказывался теперь на сотни вариантов.

Только один человек не принимал участия в разговоре — комбат Тихонов. Он стоял возле тела Симочкина стиснув челюсти и, ни на секунду не отрывая глаз, наблюдал за тем, что делал санитар. Он еще верил, что Симочкина можно вернуть к жизни. Всякий раз, как только отчаявшийся санитар делал попытку подняться, считая все конченым, Тихонов так выразительно на него взглядывал, что тот в безмолвии вновь опускался к Симочкину.

— Кончился он, товарищ капитан. Кончился, должно быть, еще в котловане, — проговорил наконец санитар, решительно вставая.

Тихонов очень пристально посмотрел на санитара, медленно перевел взгляд на Симочкина, и в этом взгляде отразились все чувства, обуревавшие его душу: скорбь командира, отцовская нежность и волевая собранность пожившего и повидавшего виды человека. Тихонов не спеша, широким движением руки, в котором было что-то и торжественное и скорбное, снял с головы мокрую фуражку и словно застыл в неподвижности. Бойцы заметили это. Разговор сразу смолк, и они обнажили головы, сняв свои испачканные в грязи и набухшие водой защитные матерчатые пилотки.

В тишине, наступившей так внезапно, вдруг кто-то негромко, по-видимому против своей воли, всхлипнул. К горлу Тихонова подступили спазмы, и он почувствовал, что должен что-то сказать.

— Алексей Симочкин, мы тебя никогда не забудем! — глухо проговорил он. — Ты погиб как настоящий герой и

воин. Ты пал первой нашей жертвой в борьбе с ненавистными японскими самураями. Это они, — возвысив голос, продолжал он, все так же сурово глядя в пустоту, — вынуждают нас жить в этой безлюдной степи, зарываться в землю, переносить неслыханные тяготы. Клянемся, что когда пробьет час нашего возмездия, мы отомстим врагу за твою смерть сполна!

Тихонов опустил голову, и только желваки, игравшие на медных от загара щеках, выдавали его волнение. Бойцы тоже склонили головы, и опять стало так тихо, что было слышно, как дышат люди.

Вдруг послышался лошадиный топот. Все подняли головы, повернулись и увидели, что по косогору скачут два всадника в фуражках с зеленым верхом. Это были пограничники. Лошади, на которых они ехали, были взмылены и до самого брюха вымазаны грязью. Плащ-палатки, висевшие на всадниках, были мокрые, и это говорило о том, что они выехали сюда в самый разгар урагана. Какая нужда погнала их в неурочный час?

— Егоров, — сказал Тихонов, — перенесите Симочкина к штабной палатке и поставьте караул.

Проговорив это, Тихонов сделал несколько шагов навстречу всадникам.

— Чем обязан вашему появлению, товарищи? — крикнул он, испытывая нетерпение.

— Помощь нужна, товарищ капитан, — проговорил, подъезжая, один из пограничников. — В ураган перешла границу большая группа диверсантов. Часть мы перестреляли, но некоторым удалось скрыться в сопках. Надо выставить заслоны и прочесать местность.

Тихонов встрепенулся. Повертываясь к бойцам, которые все еще стояли около Симочкина, звонко крикнул:

— Тревога!

## 10

Пополнение командиров прибыло гораздо скорее, чем предполагал Тихонов. Для каждого думающего человека это был хороший признак: как, мол, ни тяжело на фронтах, а военная машина пущена на полный ход. Она все теперь по-хозяйски учтет, все силы сгруппирует, каждого возьмет на заметку, наставит на дело, которое сольется с общими усилиями народа.

Среди прибывших в батальон были: комиссар батальона Буткин, светло-русый, сероглазый, невысокого роста, с худощавым лицом, на котором расползались глубокие морщины и складки, говорившие, что легкое поджарое тело и быстрая походка комиссара обманчивы и лет, трудных, пестрых лет, прожито им значительно больше, чем можно дать на первый взгляд; старший лейтенант с поэтической фамилией Синеоков и с очами действительно синими и мечтательными; лейтенант Королев, высокий, стройный молодчага с пушистыми завитками усов, и черный, будто закопченный в таежном дыму, с угрюмым взором черных глаз, политрук Батраков.

Синеоков и Королев были кадровыми командирами, и их направили в батальон командовать ротами, а политрука Батракова назначили уполномоченным особого отдела.

Вместе с Буткиным в батальон прибыли двое старшин, командовать взводами, и человек семь сержантов, посланных в распоряжение Тихонова. Кого по-прежнему недоставало, так это врача — начальника санитарной части батальона.

Когда прибывшие командиры, выстроившись по ранжиру, представились комбату, Тихонов изумленно проговорил:

— А где же врач? Почему врача нам не присылают?

Но из прибывших никто этого знать не мог. Назначением врачей ведало совсем другое управление штаба — санитарное. Командиры промолчали, а Тихонов, как бы спохватившись, сказал:

— Ну что ж, товарищи, будьте как дома. Рад, что прибыли. Если не возражаете, то охотно проведу вас по расположению батальона, покажу все, чем мы богаты.

Все согласились. Тихонов помедлил секунду-другую, прикидывая, с чего начать обход батальона, и, вспомнив о младших командирах, стоявших в стороне в ожидании, когда комбат займется ими, велел подозвать их.

Старшины и сержанты оказались как на подбор: рослые, подтянутые, собранные. Они так лихо козыряли Тихонову, так ловко это у них получалось, что старый служака невольно улыбнулся. За последнее время, когда в армию нахлынуло много людей необученных, не знающих даже элементарных правил армейского порядка, настоящая строевая выправка, которой отличались приехав-

шие старшины и сержанты, не могла не броситься ему в глаза.

— Да откуда вы такие взялись?! — не утерпев, воскликнул Тихонов.

— Мы только что окончили курсы подготовки младшего комсостава по сокращенной программе полковых школ, — проговорил один из сержантов, на котором все обычное солдатское обмундирование сидело как-то по-особенному ловко. Тихонов присмотрелся к сержанту: карие глаза его были быстрыми, цепкими, движения пластичными. «Спортсмен», — про себя отметил Тихонов и, попытавшись на глаз определить возраст сержанта, в недоумении опустил голову. Сержант был моложав, по-юношески поджар, но по каким-то незримым признакам, по манере смотреть в упор Тихонов понял, что сержант прожил уже не меньше тридцати лет.

— Вы знаете, товарищ капитан, — проговорил старший политрук Буткин, — сержант товарищ Соловей, — при этих словах он кивнул головой на сержанта, который, заслышав свою фамилию, произнесенную старшим начальником, вытянул руки по швам и стоял как по команде «Смирно», — изумительный затейник. Он и певец, и танцор, и баянист, и чтец. Дорогой он нам показал свое искусство. Я полагаю, что товарищ Соловей наладит нам в батальоне художественную самодеятельность...

— Это хорошо! Живем мы тут, по правде сказать, не очень весело, — с грустной усмешкой сказал Тихонов.

— Ну, насчет веселья, товарищ капитан, не беспокойтесь, мы его из-под земли добудем, — довольно самоуверенно проговорил Соловей. Но судя по тому, что и средние и младшие командиры на эти слова сержанта отозвались сочувственно, Тихонов понял, что Соловей, видимо, насчет веселья в самом деле «собаку съел».

— Давайте, давайте, сержант, унывать нам не приходится, — шутливо сказал Тихонов и, помолчав, добавил: — Помните, как поется в песне: «Затоскуй, загорюй — курица обидит».

Потом все они, и средние командиры и младшие, направились вслед за Тихоновым по пади Ченчальтюй осматривать расположение батальона, в котором с сегодняшнего дня они становились равноправными жителями, участниками всех его дел, законными творцами его доброй славы.

Батальон существовал всего лишь несколько недель, но он имел уже кое-какую историю, о которой можно было рассказывать.

Тихонов показал приезжим землянки, теперь уже оборудованные по всем правилам строительной техники, ознакомил с расположением рот, рассказал о соседях — таких же батальонах, как и его, Тихонова, подразделениях, расположенных в семи-восьми километрах слева и справа. Потом он провел прибывших командиров к самому большому котловану, который один из всех оставался еще не покрытым никакой крышей. Здесь намечался клуб. Его не достроили из-за отсутствия теса. Сам начальник политуправления обещал прислать тес, и теперь его ждали с каждым поездом.

Котлован, предназначенный для клуба, был местом гибели Симочкина, и Тихонов, все еще переживавший гибель молодого бойца, не утерпел, чтоб не рассказать об этом памятном всему батальону событии.

Могила Симочкина находилась на гребне одной из сопок, окружавших падь Ченчальтюй. Отсюда, от землянок, хорошо был виден деревянный памятник, в виде конусообразной колонки, увенчанной ярко-красной звездой, поставленной по распоряжению Тихонова на самом солнцепеке, на пересечении ветровых потоков, которые на этом месте, вырвавшись из падей, сталкивались как два взбесившихся коршуна.

И средние и младшие командиры, слушая Тихонова, то и дело поглядывали на памятник Симочкину, каждый по-своему представляя этого безвременно погибшего юношу. А Тихонов, заговорив о Симочкине, рассказывал уже о выходе батальона на границу, о ливне, который свел на нет многодневный труд батальона, о безрезультатных поисках в степи диверсантов, сумевших перейти границу под прикрытием дождя, о том напряженном положении, которое сложилось тут ввиду бесконечных японских провокаций и диверсий.

— Живем мы здесь вдалеке от фронта, а жизнь ведем почти фронтовую, — говорил Тихонов. — Спим с оружием, несем усиленный караул на своем участке, то и дело выбрасываемся на границу, чтобы в случае чего не прозевать, вовремя дать японцам отпор. А войны, видимо, не избежать. По последним разведданным, японцы только на нашем направлении подвели три дивизии, причем две из

них императорские. А на днях в один из маньчжурских городков прибыли немецкие инструкторы, которые намерены внедрить в японскую армию свои новейшие достижения.

Рассказав о всей истории батальона, Тихонов не покинул приехавших, а вместе с ними направился на кухню, куда предварительно он передал приказание о срочном приготовлении обеда на вновь приехавших товарищей.

На кухне Тихонов вызвал к себе повара сержанта Серёжкина и, выслушав его рапорт о том, что обед готов и уже второй раз подогревается в бачках, приказал тотчас же кормить людей. Дождавшись, когда обед был принесен на столы, сооруженные из простых толстых досок, прибитых к березовым стойкам, Тихонов пожелал приехавшим товарищам хорошего аппетита и удалился.

Едва Тихонов скрылся, командиры, и средние и младшие, дружно заговорили о комбате. Тихонов провел с ними часа полтора-два — максимум, но и этого времени было достаточно для понимания некоторых важных особенностей стиля его работы. По всему, что говорил и делал комбат, было видно, что он любил во все вникать, до всего доходить, не гнушаясь никакими мелочами. По-видимому, он был человек требовательный, волевой, но и чуткий, внимательный к нуждам людей, находившихся у него в подчинении.

После обеда командиры разошлись по ротам, согласно полученным назначениям, и стали устраиваться на ночевку. Близился вечер, с ветерком, с пыльцой, с той хмурью на осеннем тяжелом небе, которая навевает нерадостные раздумья, заставляя вспоминать то родных, то свою юность, то мирное время, когда можно было устраивать свою жизнь где хочешь и как хочешь.

А утром все приехавшие начали службу, окунулись сразу в водоворот больших и малых дел, которые цеплялись одно за другое и в целом создавали напряженный ритм жизни, пронизывающий весь батальон от командира до последнего бойца.

## 11

Старший политрук Буткин поселился в землянке, в которой жил комбат Тихонов и адъютант старший Власов. Ночью он спал плохо, ворочался с боку на бок, несколько раз выходил на улицу выкурить самокрутку из

крупной махорки, перемешанной с листовухой. Как все или большинство пожилых людей, Буткин спал мало и ночами, коротая бессонные часы, размышлял о жизни, о людях, о судьбах Родины, которую он любил преданно, самозабвенно, любил без всяких пышных слов, которые, кстати сказать, по отношению к Родине и произносить-то стеснялся, так как они, слова эти, казались ему ненужными и порой даже оскорбительными.

И в эту первую ночь, проведенную в батальоне, Буткин, лежа на жестком топчане, застланном свежим сеном, пахнувшим далеким-далеким детством, среди прочих дум немало размышлял о своей новой роли — комиссара батальона, о Тихонове, который сейчас лежал от него в двух шагах, по-богатырски похрапывая, и с которым ему предстояло работать, может быть, год, а может быть, и два года, о напряженности положения на восточных границах Советского Союза и о неясности его, Буткина, собственной судьбы, которая в условиях войны могла повернуться самым неожиданным образом и унести его в Берлин, или Порт-Артур, или еще куда-нибудь.

Перед рассветом Буткин забылся, а когда проснулся, в землянке было пусто. Тихонов и Власов уже ушли в подразделения. В маленькое оконце, устроенное почти под самым потолком, падал яркий свет — день, невзирая на ветреный закат, выдался ясный и солнечный.

Буткин вскочил, оглядел землянку и стал поспешно одеваться. «Эх ты, Аника-воин, — думал он о самом себе с ярым неудовольствием, — лежишь, нежишься... Привык там, в райкоме-то, прохлаждаться...» Он в эти минуты до того был жесток к самому себе, что не замечал даже в мыслях своих вопиющей несправедливости. Да было ли так? Мог ли он там, в райкоме, хоть один день провести беззаботно, без напряжения? Кто же в районе не знает, сколько тревожных, бессонных ночей провел он в своем кабинете, помещавшемся в углу большого деревянного дома... Разве это не он в пору сева и уборки урожая носился на испытанном газике, появляясь всегда кстати, всегда вовремя то в одном конце района, то в другом, по суткам, по двое не смыкая глаз? Но теперь обо всем этом он и знать не хотел. «Проспал... проспал... Батальон, наверное, давным-давно на ногах». Разгорячив себя этими мыслями, он представил, как комбат Тихонов, посмеиваясь и посматривая на землянку, думает: «Комиссар мой,

видимо, предполагает, что он попал не на границу, а в дом отдыха». Это было уж слишком жестоко, невероятно жестоко. Но таков был Буткин, так воспитал он себя.

Буткин наспех обмотал ноги портянками, натянул сапоги и взялся за ремень. В этот момент дверь землянки осторожно открылась, и Буткин увидел Тихонова. Капитан был, вероятно, убежден, что комиссар еще спит, и вышагивал почти на цыпочках.

— А! Вы уже встали! Лежите, лежите, вам после дороги надо как следует отдохнуть, — проговорил Тихонов.

Но Буткин стоял уже в одежде, в сапогах и ложиться в постель больше не намеревался. Понимая, что Буткин больше не ляжет, Тихонов предложил:

— Ну, коль не хотите ложиться, может быть, позавтракаем? Я велю принести нам сюда.

— Это другое дело! — с живостью отозвался Буткин.— Пока вы завтрак заказываете, я тем временем умоюсь, приведу себя в порядок.

Они вышли из землянки на простор. Тихонов — чтоб заказать завтрак, а Буткин — с полотенцем и мыльницей в руках.

Через десять минут они сидели за маленьким столиком и пили чай из голубого эмалированного чайника. Пользуясь тем, что они одни, Буткин завел разговор о своей службе в батальоне, о том, с чего ему начать, на кого опереться.

— Признаюсь вам, товарищ капитан, чистосердечно: армию, условия работы в ней знаю плохо. Подумайте только — не служил с двадцать второго года. Как кончил гражданскую войну, демобилизовался и с тех пор о Красной Армии сужу по газетам. А ведь у вас тут много воды утекло, много всяких перемен произошло. Техника, уставы, дисциплина — все это новое. Далеко шагнули вы... — озабоченно морща и без того морщинистый лоб, говорил Буткин.

Он говорил все это не для того, чтобы унизить себя или под предлогом неопытности уменьшить ответственность, возложенную на него. Нет, Буткин был человек трезвого разума, он отчетливо сознавал трудности, которые встают перед ним на новом поприще, и не хотел уклониться от этих трудностей.

Искренность Буткина тронула Тихонова. Он понял, что прислали в батальон комиссаром человека прямого,

открытого, из той породы людей, которые не любят скрывать ни своих достоинств, ни своих пороков и дело, работу свою, общие интересы выдвигают на первый план.

— Знаешь, Петр Петрович, что я хочу сказать тебе, — обращаясь к Буткину на «ты» и впервые называя его по имени и отчеству, проговорил Тихонов, внимательно глядя на комиссара. — Живое, прочувствованное слово нужно сейчас нашим людям. События идут суровые, половина батальона из районов, которые уже оккупированы немцами. На душе у людей сейчас не легко. Я заметил: как наши оставили Смоленск, так бойцы даже песен стали петь меньше. А ведь батальон на три четверти из молодежи!.. И потом, восток, японцы,— продолжал Тихонов после короткой паузы. — С одной стороны, мы резерв для запада, а с другой — мы авангард на востоке. И вот надо, чтобы наши люди поняли это. Я лично убежден, что столкновения с японцами нам не избежать. Так или иначе, а весь узел дальневосточных противоречий не развязать без участия Советского Союза.

Буткин слушал разумные речи Тихонова с большим вниманием и, будучи человеком партийным не по форме, а по всему складу души своей, он размышлял не только о том, о чем говорил капитан. «Каких же замечательных людей вырастила наша партия!» — думал Буткин, глядя серыми глазами на взволнованное лицо Тихонова.

Когда Тихонов умолк, высказав все свои соображения относительно постановки политической работы в батальоне, заговорил Буткин. В его мыслях еще ночью и потом, в минуты их беседы, сложилось уже немало дельных предложений. Прежде всего надо было собрать коммунистов, их в батальоне набиралось свыше тридцати, затем подобрать знающих групповодов, начать регулярную политическую учебу, взяться за самодеятельность. Благо этот сержант Соловей прибыл со своим собственным баяном...

Тихонов слушал Буткина и утвердительно кивал головой. Хотя комиссар, начиная беседу, предупредил, он-де армии не знает, но все, что он предлагал, было жизненно и целесообразно.

## 12

...план политической работы был записан на лис... бумажки, когда дверь землянки с визгом откры...

в нее вбежал взволнованный, вспотевший адъютант старший Власов.

Тихонов хорошо изучил своих подчиненных и по первому взгляду, который он бросил на Власова, понял что адъютант старший чем-то не просто взволнован, а потрясен.

— Что там, Власов, случилось? — вставая из-за стола, спросил Тихонов.

— Почта, товарищ капитан, пришла. В газетах сообщают, что наши войска оставили город Орел. Теперь немец попрет на Москву. А еще кроме газет писем много пришло. Один боец из егоровской роты, Ефим Демидков, получил письмо от сестры, которая пробилась через фронт из Смоленской области и приехала к своей старшей сестре в Читинскую область. Это же читать невозможно, товарищ капитан! — со стоном воскликнул Власов, и его молодое лицо с жгуче-черными глазами исказилось.

— Да что там за письмо такое? — поспешно спросил Тихонов, вопросительно взглянув на Буткина.

Власов молча подал Тихонову свернутый в трубочку конверт, согретый теплом его руки. Капитан вытащил письмо из конверта, приблизился к оконцу, в которое струился дневной свет, и принялся читать.

Он читал это письмо, не проронив ни одного слова. Буткин и Власов молча наблюдали за ним. Обветренное лицо Тихонова становилось с каждым мгновением строже и сосредоточеннее.

Наклонив голову так, чтоб скрыть глаза, Тихонов решительным движением руки передал письмо Буткину. Тот прочитал его и словно окаменел: стоял не шевелясь и, казалось, не дыша. Потом опустил руку, в которой держал исписанный клочок бумаги, сказал:

— Ну вот, Прохор Андреевич, жизнь вносит в [illegible] план поправки. Надо не откладывая провесть митинг.

Все трое помолчали еще минуту-другую, и Тихонов, прохаживаясь по землянке, насколько это было возможно делать при ее крохотном размере, проговорил:

— Передайте, Власов, командирам рот мое приказание: привести роты в строю к штабной землянке к 13.00 на батальонный митинг. Как, товарищ старший политрук, успеете подготовиться? — обратился он к Буткину.

— Безусловно, — ответил Буткин. И все они, один за другим, вышли из землянки, унося в своих сердцах, как

кровоточащую рану на теле, неизгладимое впечатление от простого, бесхитростного письма.

Даже во второй половине осени, которая наступает в Забайкалье необычайно рано, выпадают дни, в которые кажется, что природа повернула свое движение вспять. Солнце светит и греет так щедро, небо такое прозрачно-голубое, что никак не верится, что приближается зима.

Пока ждали начала митинга, на лужайке возле штаба без умолку слышался говорок. Бойцы в непринужденных позах разместились вокруг стола, кто сидя, кто лежа. Сводка Информбюро, сообщавшая об Орле, была уже всем известна, но говорить о ней избегали. Так не вязалась жестокая, мучительная весть с радостным, совсем летним днем, с хорошими, влекущими к самому лучшему, к самому возвышенному чувствами, которые рождаются всегда, когда собирается в одном месте много людей, единых по делам, мыслям и стремлениям своим.

— Эх, денек-то какой! На полях теперь овощи торопятся прибрать.

— А по дорогам к станциям, к элеваторам — подводы, машины с хлебом...

— А охотники тоже уж двинулись. Пора!

Так говорили люди обрывками о том о сем, но, сказав, замолкали и мысленно уносились туда, где они когда-то жили.

Но вот взвизгнула от резкого толчка дверь землянки, в которой находился штаб батальона, и оттуда вышли комбат Тихонов, младший лейтенант Власов, командиры рот — Синеоков, Королев, Егоров и старший политрук Буткин. Бойцы поднялись с земли, а адъютант старший Власов забежал вперед, подал команду «Смирно» и отдал капитану рапорт.

Тихонов открыл митинг и предоставил слово комиссару батальона. На Буткина устремились сотни пытливых, доверчивых глаз. Он обвел взглядом все эти загоревшие рабочие лица, ставшие ему сразу же родными и близкими, и вспомнил давно прошедшее...

...Шумит заунывно и тоскливо дремучая тайга. Возле костров сгрудились партизаны вот с такими же обветренными рабочими лицами. Партизанам предстоит тяжелый переход через тайгу и горы. Час пробил! Пора выходить из тайги в людные места. Он — комиссар партизанского

отряда — произносит речь. Он говорит о контрреволюционной гидре, о международных акулах капитализма, о высоких задачах партизан перед лицом мирового пролетариата. Его слушают затаив дыхание, бурно рукоплещут, бросают шапки в воздух, выкрикивают слова одобрения. Неужели с тех пор минуло больше двадцати лет? Да не вчера ли все это было?..

Захваченный воспоминаниями, Буткин стоял минуту-другую молча, потом поднял руку, крикнул:

— Товарищи бойцы! Товарищи командиры!

Но едва он произнес эти слова, как ему почудилось, что он начал свою речь на той высокой, митингово-торжественной ноте, на которой проходили все митинги тогда, в годы гражданской войны. «Но теперь и люди стали другие, и время другое, и жизнь иная», — мелькнуло у него в мыслях.

— Товарищи бойцы! Товарищи командиры! — повторил он, но уже иным голосом, в тоне которого меньше было торжественности и пафоса и больше интимности и сердечности, которые проникают в самую душу человека, надолго западают в его ум и сердце. — Неслыханные злодеяния творят на нашей священной земле гитлеровские орды. Всюду, где они проходят, они оставляют за собой кровавый след массовых убийств, надругательств, грабежа, — говорил Буткин, внимательно присматриваясь к лицам своих слушателей, стараясь уловить, какое впечатление производят на них его слова.

— К тысячам и тысячам кровавых преступлений, совершенных фашистскими людоедами, прибавилось еще одно новое злодеяние, совершенное ими над родными и близкими нашего бойца из третьей роты Ефима Демидкова.

— Послушайте, что пишет его сестра. «Дорогой мой братец Ефимушка! Пишет тебе письмо твоя сестра Лена. Не узнаешь ты теперь меня, стала я седая и старая. Такого я насмотрелась, что не знаю, как и в живых осталась.

Как пришли к нам в Звонарево немцы, то первым долгом согнали всех, и старых и малых, на площадь, к дому соцкультуры. Тут они привели тятеньку, всего уже избитого, не похожего на самого себя, привязали его за руки и за ноги толстыми веревками к танкам и на глазах у всех разорвали его на части. Тятенька, пока живой был,

не поддавался им, кричал, что все равно мы победим. Потом немцы загнали всех учителей, бригадиров, партийных и комсомольцев в дом соцкультуры и подожгли его, а чтоб горел скорее, облили стены бензином. Был тут и наш младшенький братик Леня. Когда дом соцкультуры загорелся и стала рушиться крыша, я видела раза два Леню. Он, видно, норовил выпрыгнуть в окно, да выпрыгнуть было нельзя. Кругом стояли солдаты и палили из автоматов куда ни попадя: так и погиб наш Леня в огне. А когда дом соцкультуры стал догорать, немцы кинулись на народ, кололи, стреляли, кто попадался под руку. Я побежала с Феклушей к Ермохиным в огород, перескочила через изгородь, бегу, а Феклуша отстала, я оглянулась, а она висит на изгороди, с опущенными руками, мертвая. Я было бросилась назад к ней, а немцы стали стрелять в меня. Я упала между грядок и лежала до вечера, притворяясь, что убитая. В потемках переползла в погреб к Ермохиным и жила там три дня в холоде, без хлеба, без воды.

Вылезла из погреба, смотрю: ни немцев, ни села. Ни одного дома не уцелело. Братец наш, Ефим Васильевич, отомсти ты им, немцам, за тятю и Леню, за Феклушу, за мои седые волосы, пусть они узнают, как нам было...»

Буткин дочитал письмо до конца с усилием. Голос его то прерывался, затихал, то звенел, взлетая до самых высоких нот. Он поднял глаза, чтоб взглянуть на бойцов. Они сидели в каком-то грозном оцепенении и походили в этот момент на изваяния, сделанные из мрамора рукой искусного мастера. Гнев и горе, которые пронизывали каждое слово, каждую буковку этого письма, дошли до их сердец. Чувство негодования, скорби, жажда мести смешались в их душах и отлились в одно страстное желание, в один порыв — бороться. И в том оцепенении, в котором они пребывали сейчас, со всей неповторимостью поз, взглядов, отпечатался как бы высеченный на камне этот благородный порыв к борьбе.

Буткин понял, что люди охвачены высокими чувствами и нужно сказать им очень дорогие слова. И Буткин сказал немного, но прочувствованно.

В ораторской манере Буткина была одна замечательная черта, отличавшая в нем человека не только убежденного в том, о чем он говорил, но и опытного в пропагандистском деле, знавшего многие сложные пружины

этого высочайшего искусства. Начав речь, он как бы забывал о слушателях и беседу свою строил путем вопросов, обращенных к самому себе. Минутами можно было подумать, что он выступает не перед слушателями, а, забыв о них, разговаривает сам с собой, не стесняя ничем течение своей мысли, как это обычно случается, когда человек исповедуется перед собственной совестью. На самом же деле Буткин ни на одно мгновение не забывал, что его слушают другие, и внимательно следил за аудиторией, тонко улавливая ее настроение. Но благодаря этой своей манере размышлять вслух Буткин достигал редкостного воздействия на слушателей. После его речей у слушателей всегда появлялось желание высказаться о самом сокровенном и наболевшем.

И теперь произошло то же самое. Едва Буткин кончил говорить, как несколько красноармейцев подняли руки, прося слова. Среди желающих высказаться Тихонов увидел Ефима Демидкова и назвал его фамилию.

Походкой, в которой было что-то нетвердое и как бы подчеркивавшее, что этот человек несет на своих плечах незримый, но чудовищный по тяжести груз людского горя, Демидков подошел к столу. И весь батальон увидел его постаревшее, с запавшими глазами, с помятыми и словно несколько переместившимися чертами, скуластое лицо. Взгляд его был спокоен, жив, но по синим дугам, которые небрежными мазками тянулись от носа к вискам, чувствовалось, что Демидков успел уже где-то втихомолку смыть свое горе дорогими мужскими слезами.

— Братья! — с дрожью в голосе тихо сказал Демидков. И оттого, что он сказал не обычное в таких случаях «товарищи», а «братья», все почувствовали еще острее, чем прежде, какая бездна горя вторглась в душу этого человека. — Тяжело мне не только говорить, жить тяжело от таких известий, — продолжал уже более твердым голосом Демидков. — От такого горя надломиться можно... — Он долго молчал, не то пересиливая прихлынувшие слезы, не то подыскивая более точные слова. — А только надломиться себе я не дам и жить буду! — энергично взмахнув руками и как-то весь выпрямляясь, сказал он. И все увидели, что сил в этом человеке не счесть и сломить его не сможет никакое горе.

Демидков свернутой пилоткой отер пот со лба и не спеша направился к своей роте. Бойцы и командиры за-

аплодировали бурно, горячо, воздавая должное мужеству Ефима Демидкова.

Потом капитан Тихонов предоставил слово Егорову, и тот от лица бойцов и командиров третьей роты, в которой служил Демидков, произнес короткую, но яркую речь. Он называл Лену с седыми волосами родной сестрой всей роты. Когда Егоров заявил, что голос Лены с седыми волосами, призывающий брата сделать так, чтоб немцы узнали, «как нам было», услышан и бойцы горят желанием скорее вступить в бой, весь батальон опять горячо зааплодировал, и вскоре сотни сильных, молодых голосов могуче прокричали своей Родине, на защиту которой они поднялись стеной, протяжное и громкое «ура».

Перед окончанием митинга, после того как выступили Прокофий Подкорытов и Василий Петухов, к столу строевой походкой, гордо неся на медной от загара шее круглую, стриженную под машинку голову, подошел сержант Соловей.

Он был в батальоне новым человеком, и потому первые мгновения его рассматривали с той придирчивостью во взгляде, которая как-то сама собою появляется у людей, стоит им только стать военными. Но Соловей, по-видимому, был аккуратист до мозга костей. Большие кирзовые сапоги его были тщательно начищены, брюки и гимнастерка из дешевой защитной ткани производили впечатление недавно побывавших под горячим утюгом, крепкую мускулистую шею плотно облегала ослепительно белая каемочка умело пришитого подворотничка. Глядя на подтянутого, щеголеватого сержанта, можно было изумляться, как он мог, много дней находясь в дороге, а теперь живя в степи, в землянке, сохранять в таком порядке свою немудрящую солдатскую одежду. Все это, конечно, заметили, и каждый с долей некоторой профессиональной зависти подумал: «Вот это заправочка! Ой-ой-ой!»

— Товарищи и друзья! Братья по оружию! Горе Ефима Демидкова понятно и близко мне. Я сам житель Смоленской области, и, как знать, может быть, и мои родные вот так же растерзаны кровавой рукой фашистов.

Сказав это, Соловей отыскал глазами сидевшего с опущенной головой Ефима Демидкова и, обращаясь к нему, звенящим голосом проговорил:

— Товарищ Демидков, в горе и гневе вы не одиноки, и пусть это утешит вас и придаст силы!

Потом Соловей встал на колени и, подняв руки, поклялся перед лицом товарищей не щадить в борьбе за Родину ни крови своей, ни самой жизни. Он пал ниц, и все увидели, что Соловей целует серую, песчано-каменистую землю.

Митинг закончился речью Тихонова. Ее прослушали затая дыхание, так как Тихонов говорил о самом насущном и близком — о задачах батальона.

Когда командиры развели роты по местам, Буткин направился к своей землянке. У него было такое ощущение, будто он живет в батальоне не один день, а бесконечно долго.

За те короткие часы, которые занял митинг, Буткин мысленно внес в свой план ряд существенных поправок. Долголетняя работа с людьми научила его неустанно анализировать жизнь, тщательно всматриваться в ее живой поток. Худшее, что могло быть у руководящего работника,— это преклонение перед бумажкой. Сталкиваясь раньше в райкоме с десятками и сотнями людей, Буткин всегда жестоко высмеивал эту слепую веру в бумагу. «Вы раб бумаги, взгляните на жизнь по-большевистски», — говорил он иному руководителю, который, ссылаясь на циркуляр и на план, где, дескать, все предусмотрено, силился доказать, что на его участке работы царит полное благополучие. Сам же Буткин обладал тем драгоценным качеством живого, непосредственного восприятия жизни, которое делает руководителя стоящим в самой гуще событий и позволяет ему браться за дела, составляющие суть того или иного явления.

Встреча с батальоном на митинге, взволнованные и искренние речи бойцов и командиров натолкнули Буткина на новые мысли. Он увидел, что в плане, составленном совместно с капитаном, опущены пункты первостепенного значения.

«Надо по ротам, а может быть, даже и по взводам провести товарищеские собеседования, поближе узнать людей. И начать это надо прежде всего, начать сегодня же», — размышлял Буткин.

Внешне Буткин всегда казался хладнокровным и спокойным, а порой и несколько равнодушным. Но это был результат выучки, большой внутренней дисциплины. На самом деле он обладал таким горячим отношением к жизни, таким нетерпением, когда дело касалось работы, что

всякое равнодушие или медлительность вызывали в нем негодование. Неосуществленный замысел, неисполненная работа порождали в нем состояние творческого кипения.

Буткин дошел до землянки, но возле дверцы остановился. «А что мешает мне пойти в одну из рот теперь же?» — спросил он сам себя, испытывая от всех своих мыслей жгучее желание действовать, действовать и действовать. Он постоял минуту в раздумье, приоткрыл дверцу в землянку, бросил папку на свой топчан и быстрой походкой направился к самым дальним землянкам, в которых жила рота старшего лейтенанта Синеокова.

## 13

Наконец и Филипп Егоров получил письмо от родных. Это была первая весточка после разлуки. Писала Сашенька, жена Филиппа. Письмо было длинное, на шести страницах, вырванных из ученической тетради. Егоров бегло, какими-то летучими взглядами пробежал по строчкам и торопливо вытащил из конверта еще один листок. Развернув его, он увидел нарисованный цветными карандашами двухэтажный дом и скачущие крупные буквы. «Папа, свари себе моркофку и кушай слифки». Это было послание от шестилетней дочери. Егоров улыбнулся, глядя на букву «ф», начертанную, вероятно, без малейших колебаний в этом деловитом, кратком письме, и почувствовал, как сжалось сердце. «Милые мои, хорошие... Свари себе моркофку и кушай слифки», — прошептал Егоров.

Вечером, когда все, что нужно было сделать за день, было сделано, Егоров решил вновь перечитать письмо жены. Читая теперь не торопясь, он составил полное представление о том, что делалось в эти дни в его родном городе.

Милая Сашенька, она, как и тысячи других штатских людей, весьма смутно представлявших, что скрыто за понятием военной тайны, сообщая о прибытии в город с запада трех больших заводов, не удержалась от некоторых пояснений: на одном заводе будет производиться зеленый горошек, наивно хитрила она, второй вот-вот начнет выращивать в парниках тыквы, а третий огородился высокими заборами и дымит, дымит во все семь труб.

Вторая часть письма была посвящена переменам в жизни знакомых: директор школы Нестор Флегонтович назначен в ремесленное училище, ввиду особой важности этого училища для подготовки кадров; Калерия Александровна, врач, лечившая их Ниночку от кашлей и поносов, надела военную форму со шпалой на петлицах гимнастерки и возглавила самый крупный госпиталь в городе; две дочки их соседа, Вера и Тася, студентки биологического факультета, временно ушли с учебы и поступили на один из вновь прибывших заводов, желая помогать фронту своим трудом на предприятии; Николай Петрович, отец Сашеньки, инвалид первой мировой войны и пенсионер, вернулся к токарному станку и вот уже второй месяц выполняет норму на двести процентов.

В конце письма Сашенька сообщала, что все они, учителя, не очень-то доверяют заявлениям японских деятелей о верности пакту о нейтралитете и, чтобы не оказаться застигнутыми врасплох, посещают курсы инструкторов ПВХО. Город хотя и расположен за тысячи километров от маньчжурской границы, тем не менее полагаться в нынешний век на расстояние опасно...

Увлеченный письмом, Егоров не заметил, как в его землянку вошел Буткин. Он был уже совсем возле стола, когда Егоров увидел его и порывисто, с некоторым смущением за свое опоздание, поднялся.

— Сидите, Егоров, сидите,— пожимая ему руку и почему-то тоже смущаясь, проговорил комиссар.

Но Егоров все-таки встал, пристукнув каблуком и расправляя плечи. «Это у него от гражданки еще осталось. Вот Тихонов, тому вначале проделай, что полагается по уставу, а потом он с тобой разговаривать начнет, да так запросто, будто век тебя знает», — подумал Егоров о смущении Буткина.

— Чем занимаетесь, товарищ Егоров? — спросил комиссар и опять замахал нетерпеливо рукой: — Садитесь, садитесь, пожалуйста!

Егоров пододвинул Буткину табурет и сел на прежнее место — в угол.

— Письмо, товарищ старший политрук, от жены получил. Днем некогда было читать его внимательно, вот и пришлось заняться этим сейчас, — проговорил Егоров.

— Письмо? Ну, что там? Как там? — необыкновенно оживляясь, спросил Буткин.

И по тому, с какой горячностью был задан этот вопрос и как сразу вспыхнули в глазах Буткина живые огоньки, Филипп понял, что гражданка, тыл — это то самое, за что он, Буткин, и теперь, будучи уже в армии, чувствует перед лицом грозных событий моральную ответственность.

— Да вот послушайте, товарищ старший политрук, — с готовностью проговорил Егоров и, прибавив фитиль в лампе, взялся за письмо.

Буткин от нетерпения даже привстал. «Ну, ну, почитай, почитай, послушаем, что мы там наработали, как народ к испытаниям подготовили», — пронеслось у него в мыслях.

Егоров прочитал письмо жены и не утерпел, подал комиссару листок с рисунком дочери. Буткин кинул взгляд на рисунок, прочитал исполненное старательными каракулями письмо: «Папа, свари себе моркофку и кушай слифки» — и вдруг залился таким звонким смехом, неожиданно звонким, что Егоров, тоже засмеявшийся вначале, изумленно посмотрел на Буткина, про себя думая: «Да он юноша! Неужели ему пятьдесят лет?»

А Буткин вытер лоб платком и крутил, крутил в руках рисунок девочки. На лице его, в особенности на губах и на морщинистых, уже чуть-чуть впалых щеках, долго еще держалась нежная улыбка.

— В глубокие толщи проникает война, — сказал Буткин, и улыбка каким-то уже далеким прикосновением тронула раз-другой его губы и исчезла, словно улетела, как птица.

— Да, большие пласты народа подымает война, — проговорил Егоров, чувствуя порожденную письмом жены потребность высказаться. — И вот заметьте, товарищ старший политрук, как бестрепетно, с каким высоким сознанием народ идет на жертвы. Ничего люди не жалеют, ничего не щадят. И то еще интересно: когда мы пятилетки выполняли, казалось нам порой — ну, такой разбег мы взяли, что надорваться можно. А как дело-то оборачивалось? Смотришь, план был на пять лет, а народ его за четыре года поднял, да еще с лихвой. И думается мне, вот и теперь много подспудных сил народа прорвется. Трудности у нас, по всему видно, будут немалые, а только изобретателен и ловок наш человек...

— Вы в партии давно, товарищ Егоров? — вдруг спросил Буткин.

— Какое там давно! С прошлого года, товарищ старший политрук, — сказал Егоров с усмешкой. Ему казалось, что к активной политической жизни он приобщился слишком поздно, были все условия сделать это гораздо раньше.

— Ага! — мотнул головой Буткин.

Они опять надолго замолчали, раздумывая каждый по-своему об одном и том же: о партии, о стране, о народе...

— А не думали вы, товарищ Егоров, что речь эта от третьего июля к нам адресована? — заговорил Буткин, скручивая из газеты цигарку, похожую своей формой на игрушечную воронку.

— Как не думал? Думал, товарищ старший политрук. Для армии это целая программа.

— Да нет. Я не об этом. Я о себе, о вас, о Тихонове говорю. А вы сразу армия! Привыкли мы все мировыми масштабами мерить, — бросив на Егорова лукавый взгляд, проговорил Буткин.

Егоров не обиделся на это замечание. Буткин был прав. Немало часов он провел над изучением речи Сталина. Отдельные ее места он знал наизусть. И размышлял он над этой речью немало, но, скрывать нечего, размышлял в общем и целом, размышлял применительно к масштабам всей страны, всего народа, всей армии.

— Сознаюсь, товарищ старший политрук, снизойти до собственной персоны не успел, — разводя руками, с беспощадной правдивостью проговорил Егоров.

— Ну вот! А в речи есть такие места, в которых только наших фамилий недостает. Да, да! — загорячился Буткин, словно кто-то пытался не согласиться с ним. Егоров молчал, вопросительно глядя на комиссара, несколько даже озадаченный его словами. «Какое же место в речи имеет он в виду?» — думал Егоров.

— Не освободились мы, товарищ Егоров, от мирных настроений до конца, хотя и живем на границе, и порохом тут изрядно припахивает, — сказал Буткин и встал. Чувствовалось, что то, о чем он начал говорить, волнует его и не дает ему покоя.

— Три недели я живу в батальоне. Пригляделся кое к чему и вижу: всех выводов из того факта, что на западе идет война, мы, коммунисты, не сделали. Живем по традиции мирного времени и утешаем себя мыслью: «Мы,

мол, штатские костюмы сняли, нарядились в военные мундиры, и посему наш долг исполнен». А как мы живем? Какие требования мы к себе предъявляем? Как мы обучаем бойцов? — Буткин поднял руку, растопырив пальцы, и долго смотрел на Егорова глазами, в которых сверкала и буйствовала, как живые огоньки, его неугомонная душа. — Мы учим бойцов формально, мы правильно делаем, что опираемся в учебе на уставы и наставления, но мы забываем, что каждодневно идет война и она рождает много нового. А мы замечаем это новое? Да нет! Творчества у нас мало, горения мало, выдумка отсутствует! Тот старик, инвалид и пенсионер, о котором пишет ваша жена, вот он, он понял, что от него требует война. Он пошел на завод, и не просто затем, чтоб работать, а чтоб работать, выдавая две нормы...

Буткин хотел что-то сказать еще, но в дверь землянки забарабанили, и послышался голос:

— Разрешите?

— Войдите! — крикнул Егоров.

Вошел боец, одетый в шинель, с автоматом на груди и с противогазом на боку.

— Товарищ старший политрук, разрешите доложить... Генерал Разин требуют вас к телефону.

— Иду, иду, — беря со стола свою фуражку, заторопился Буткин. Возле двери он обернулся, приветливо улыбнувшись Егорову, сказал: — Жаль, товарищ Егоров, что не удалось окончить беседу, но при случае подумайте кое о чем.

И комиссар вышел вслед за бойцом, хлопнув дверцей.

Оставшись один, Егоров откинулся к земляной стене и закрыл глаза. Только что происшедшая сцена повторилась в воображении как видение. Буткин стоит у стола, глаза его блестят, и он страстно бросает резкие, проникающие до самого сердца слова: «Творчества у нас мало, горения мало, выдумка отсутствует...»

Егоров открыл глаза, решительно поднялся, заговорил сам с собой вслух:

— А что, разве не верно? Все правильно!

Он стоял, покачиваясь от переизбытка каких-то внутренних сил, которые пробудил в нем своим разговором комиссар. Припомнилось ему, как он становился географом. География сделалась его страстью. Он в два-три года собрал солидную географическую библиотеку, в которой

были богато представлены разного рода учебники, справочники, путевые дневники и мемуары почти всех известных путешественников и первооткрывателей. Он установил связь с большим числом букинистов в разных городах и с их помощью собрал интересную коллекцию географических карт.

Его работа в школе была полна вдохновения. Он не просто преподавал, а воспитывал в учениках дух исследователей. Каждое лето он отправлялся со своими воспитанниками в длительные экскурсии по таежным рекам. Зимой он организовывал в школе увлекательные географические игры. Географический кабинет, который он оборудовал, считался лучшим в городе. Некоторые из его коллег упрекали, что он «берет материал шире программы Наркомпроса», но он-то знал, что говорят это либо деляги, для которых в циркуляре свята каждая запятая, либо завистники, неспособные организовать дело, порученное им, с должным размахом. «Самое главное, чтоб не было у́же программы Наркомпроса, а шире — это ничего», — утешал он себя в таких случаях.

В течение двух лет он сделал географию любимым предметом школьников. В тысяча девятьсот сороковом году школа, в которой он работал, выпустила пятьдесят восемь питомцев, из них почти половина поступила на географические факультеты.

Потом ему географии стало мало и он увлекся селекционированием. Он принялся за это с не меньшей страстью. Побывал в Мичуринске, съездил на опытную станцию, объездил опытные участки многих колхозов. Половину огорода, примыкавшего к его домику, занял под свои опыты, а вокруг школы при помощи ребят разбил фруктовый сад. Он творил тогда, горел, без конца изобретал и выдумывал...

Припомнив все это, он мысленным взором охватил свою работу здесь, в армии, и сложное чувство неудовлетворения собой горячей волной прихлынуло к его сердцу. «Прав, прав Буткин... Ах, Буткин, Буткин, мудрый ты человек. И как ты это верно увидел и как тонко подметил... Что ж, обижаться не на что, творчества нет и выдумки нет. Скажет Тихонов — сделаешь. А чтоб самому догадаться, чтоб самому всмотреться в то, что творится на фронте и скорее как-то приспособиться к опыту фронта — этого нет. А вот они, газеты, сколько в них живого

биения фронтовой жизни, сколько неотложных вопросов, сколько прямых советов нам, людям, которые еще не воюют».

Егоров приблизился к столу, сел на табурет, на котором сидел Буткин, взял пачку газет «Красная звезда», начал их листать номер за номером.

## 14

Это было необычайное занятие в роте, и на него пришли Тихонов, Буткин и Власов. Занятия посвящались обучению бойцов борьбе с танками. Тема была злободневной. Немцы все еще продолжали теснить наши части почти на всем протяжении гигантского фронта. Особенно тяжелое положение было под Москвой. Бои шли в сорока — тридцати километрах от столицы. Немцы не считались ни с какими потерями и бросали в атаки десятки и сотни танков, используя все свое численное превосходство. С газетных полос звучал, как боевой набат, призыв: «Воины Красной Армии, умением и храбростью сокрушайте немецкие танки! Каждый подбитый и сожженный танк ослабляет врага и приближает нашу победу!»

После памятного разговора с Буткиным в землянке и его выступления на батальонном партийном собрании Егоров не мог уже равнодушно относиться к газетным статьям, передававшим боевой опыт фронта. Он прочитывал их, мысленно примеряя, что можно использовать для обучения бойцов, которые не сегодня, так завтра могли стать фронтовиками, если не на востоке, то на западе.

Егоров знал, что обучить бойцов борьбе с танками при помощи бутылок с горючей смесью можно довольно просто. Необходимо соорудить макет танка, подвесить его на блоках на железный трос, а сам трос с наклоном к одному концу укрепить на столбах. Стоит макет слегка толкнуть, и он понесется по тросу, создавая полную иллюзию мчащегося танка.

Но даже и такое простое сооружение осуществить Егорову не удалось. Во-первых, в батальоне не оказалось дерева, из которого можно было бы сделать макет, во-вторых, не оказалось троса. Ну, дерево еще туда-сюда. Его можно было выпросить у кого-нибудь из соседей или, наконец, призанять у железнодорожного начальства на ближайшей станции. С тросом дело обстояло гораздо

сложнее. Ни призанять, ни выпросить, ни просто получить где-либо его было невозможно. Егоров совсем отчаялся, но остановиться теперь в своих поисках он не мог...

— ...Товарищ капитан, разрешите приступить? — козырнув, проговорил Егоров, обращаясь к Тихонову.

— Приступайте, Егоров, — кивнул головой Тихонов, и улыбка, мелькнувшая в этот миг в его глазах, сказала больше слов: «В добрый час! Желаю успехов!»

— Наседкин, закатите танк на вершину сопки! — звонким голосом прокричал Егоров, отдавая приказание одному из старшин — командиров взводов.

Бойцы и командиры весело засмеялись. Танк! Танка-то никакого не было. Была бочка, правда бочка не деревянная, а железная, длинная, очень вместительная, с четырьмя внушительными ободьями, намертво приваренными к ее упругому, полному туловищу.

По измятым бокам и проржавленным ободьям чувствовалось, что бочка эта немало послужила на благо человечества. Вероятно, в начале своего пути она покоилась где-нибудь в купеческом лабазе, наполненная керосином, потом в ней варили какие-то краски, местами сросшиеся с железом навечно, потом неведомо каким образом она попала в одну из красноармейских частей и вот оказалась на самой границе. Тут в ней начали возить воду, но бочка дала течь. Когда ее попробовали починить, то увидели, что сделать это невозможно, и бросили за ненадобностью возле продсклада. Тут бы она и кончила свой долгий путь, если бы вновь не потребовалась людям...

Пока Наседкин с помощью трех бойцов вкатывал бочку на вершину сопки и накладывал в нее степной булыжник, Егоров рассказывал бойцам о способах борьбы с танками, применяемыми в настоящее время на фронте. Бойцы слушали с интересом. Да и не только бойцы. Теперь тут возле сопки собрались все командиры рот и взводов батальона, заинтересованные новшествами, вводимыми в третьей роте.

Тихонов и Буткин слушали Егорова, переглядывались. «Хороший командир из него получится, не зря он понравился мне с первого взгляда. Смотри, смотри, как дело знает! А ведь из запаса! И что там в штабе с присвоением звания ему тянут...» — думал Тихонов. А Буткин стоял, тоже размышляя: «А как важно людям вовремя

подсказать, подтолкнуть... Этот Егоров со своей инициативой и выдумкой черта свернет... С полетом парень, с фантазией... Надо нам со всей нашей техникой почаще в поле, в сопки выбрасываться... Эх, дали бы нам японцы еще с месяц тренировки, мы бы их встретили в случае чего».

А Егоров между тем продолжал говорить, все больше и больше увлекая бойцов.

— При помощи этой бочки мы должны научиться бросать в движущийся танк бутылки с горючей смесью и связки гранат и поражать цель с первого удара. Мы также должны научиться не бояться танка на подходе к траншеям и уметь скрываться от него в окопе.

— Ну, от бочки чего скрываться! Бочка есть бочка! — глубокомысленно произнес Шлёнкин своим бархатистым баском, испытывая к затее командира роты недоверие с самого начала.

Егоров посмотрел на него, чуть усмехнувшись, сказал:

— Ладно, Шлёнкин, вы пойдете в окоп первым. — И крикнул: — Наседкин, готово?!

— Танк на исходной позиции! — крикнул в ответ на вопрос командира роты Наседкин, желая явно потрафить Егорову, который избегал называть эту железную бочку бочкой и всюду именовал ее «учебным танком».

Неподалеку от подножия сопки были сооружены ходы сообщения и отрыты индивидуальные окопы. Все это было сделано в точном соответствии с чертежиком, напечатанным в газете.

Когда второй взвод роты занял траншеи и командир взвода доложил, что бойцы готовы к отражению танковой атаки, Егоров крикнул:

— Наседкин, запускайте танк!

Наседкин и сопровождавшие его бойцы с большими усилиями столкнули бочку, наполненную булыжником, с места и покатили ее к спуску. Бочка была так тяжела, что даже здесь, внизу, у подножия сопки было слышно, как скрипят под ней песок и галька.

В этот момент бойцы, сидевшие в окопах, замерли в ожидании дальнейших событий, а Шлёнкин обернулся к роте и посмотрел так победоносно, что все засмеялись.

Наседкин и бойцы, находившиеся с ним, еще раза два подтолкнули бочку и остановились. Дальше толкать ее

не требовалось. Она покатилась под гору сама, набирая скорость с каждым новым мгновением.

Через три-четыре секунды бочка неслась уже со страшной быстротой. Чтобы создать иллюзию движения танка, Егоров взял у шофера цепи, которыми тот обматывал колеса грузовой машины в ненастную погоду, и приспособил их к бочке. Теперь эти цепи вместе с булыжником, перекатывавшимся во чреве бочки, производили такой грохот, что можно было подумать, что движется не один танк, а целая армада. К тому же цепи, которыми была обмотана бочка, вздымали с промерзшей земли густое облако пыли, и это еще больше усиливало впечатление, что движутся настоящие танки.

Когда бочка стала приближаться к ходам сообщения, она издавала уже не только звон и грохот, но и от быстрого движения — пронзительный, как бы рвущий воздух, свист.

Бочка неслась прямо на Шлёнкина. Все видели, как Шлёнкин заметался в окопе, намереваясь выпрыгнуть из него. Но выпрыгивать было уже не безопасно, да и вокруг были товарищи, только что слышавшие его презрительно-иронические слова: «Бочка есть бочка». Шлёнкин поспешно, не глядя, метнул увесистую деревянную модель бутылки, метнул не в бочку, а куда-то в сторону и опустился в окоп, подгибая голову более, чем требовалось. А спустя несколько секунд он, сжавшись весь, слышал, как над его головой через окоп пронеслась бочка. Теперь он был обязан быстро вскочить и бросить еще одну бутылку, а может быть, и вторую и третью, но попасть в бочку, так как опыт фронта учил, что танки врага уязвимы не только спереди, а еще в большей степени — сзади. Но грохот и свист, с каким пронеслась над ним бочка, ошеломили его, и собраться вновь с чувствами он так быстро не смог.

Витя Соколков, находившийся со своим взводом в окопах, в пяти шагах от Шлёнкина, увидев, что Терентий не попал в бочку с первого удара, был убежден, что он воспользуется случаем и не упустит бочку теперь, когда она перекатилась через его окоп и находится рядом. Но текли дорогие мгновения, бочка удалялась, а Шлёнкин даже не показывался в окопе. И тогда Соколков, не зная, похвалят или заругают его командиры за это, метнул вслед бочке свою бутылку. Бутылка ударилась о бочку и

отскочила в сторону. Соколков метнул вторую бутылку, и она, также ударившись о быстро мчавшуюся бочку, отскочила назад.

Для кого все это было только игрой, для Викториана Соколкова — это был момент, полный смысла и напряженных переживаний. Он так был увлечен всем происходящим, что невольно забыл, где он находится. Он чувствовал себя так, будто был на настоящем фронте, и бочку, обмотанную цепями, он воспринимал как настоящий танк, в котором сидят настоящие, живые фашисты — враги его Родины. И потому он не мог допустить, чтоб эта бочка-танк на его глазах промчалась через наши траншеи не пораженной.

Поступок Викториана Соколкова достойным образом мог оценить только Тихонов. Побывав на Халхин-Голе в самых неожиданных переплетах и теоретически представляя все сложные перипетии войны, он хорошо знал цену солдатской находчивости и смекалки. Да и теперь там, на фронте, она стоила очень дорого и была той силой, которая творила будущее счастье страны. И потому, как только Тихонов увидел меткие и точные удары Соколкова, он закричал во всю мочь своих голосовых связок:

— Молодец, Соколков! Молодец!

Удары Соколкова, его находчивость и ловкость вызвали у всех наблюдавших за ним чувство восторга, и потому теперь, когда послышался голос капитана, бойцы дружно захлопали в ладоши.

Шлёнкин, все еще пребывавший в окопе, заслышав голос капитана и хлопки, поднялся наконец и непонимающим взглядом смотрел на товарищей.

— Ну как, Шлёнкин, сильно перепугался? — спросил без улыбки Тихонов.

— Вот нечистая сила, думал, сомнет, — под смех бойцов проговорил Шлёнкин.

— А хвалился-то как! Бочка есть бочка! — подражая Шлёнкину, баском сказал Егоров.

— Ну вот что, Егоров,— вдруг неожиданно жестко сказал Тихонов. — Соколкову запишите от моего имени благодарность, а Шлёнкина не выпускайте из окопа до тех пор, пока не научится встречать танк грудью.

— Есть. Будет исполнено, — откозырнул Егоров.

Бочка-танк между тем уже остановилась, и несколько бойцов, все из того же взвода старшины Наседкина, принялись выкладывать из нее серый булыжник.

Тут надо попутно заметить, что мысль об использовании бочки в качестве средства для обучения бойцов борьбе с танками пришла Егорову не сразу. Вначале он предполагал использовать ее лишь в качестве транспорта. Для обучения своих бойцов умению штурмовать долговременные огневые точки врага ему необходимо было выстроить дот. Дерева не хватало и на более неотложные нужды, связанные с оборудованием даже жилья, и он решил прибегнуть все к тому же серому, тяжелому камню.

В распадках камень был уже повыбран, когда сооружались землянки и склады батальона, а на вершинах сопок он лежал сплошным слоем. Но за морем телушка — полушка, и Егоров, не зная, как добыть этот «подлый» камень с верхушек сопок, начал присматривать залежи булыжника на старых местах.

Тут-то он и наткнулся у продсклада на старую бочку, осмотрел ее и решил, что она может навозить ему булыжника на целый дворец. Когда бочка честно принялась исполнять роль тяжеловоза, у Егорова мысль забила ключом и понесла его, понесла...

Четыре часа продолжались занятия по обучению бойцов борьбе с танками. Когда горнист просигналил обеденный перерыв, все изумленно посмотрели друг на друга, взглядами спрашивая: «Неужели обед? Не ошибка ли? Скоро что-то». Бойцы, увлекшись занятиями, не заметили, как миновала первая половина дня.

Тихонов приказал роту увести на обед, а командирам ненадолго задержаться на летучее совещание.

— Ну, вот что, товарищи, — сказал Тихонов, когда ротные и взводные командиры окружили его. — Занятия по борьбе с танками вполне удались. Отмечаю заслугу Егорова. Хорошо продумано. Отныне эту сопку именуйте, Власов, в приказах и расписаниях Танковой. Бочку, Егоров, из собственности роты передайте в собственность батальона. Примите ее, Власов, как учебное имущество. Синеокову и Королёву в ближайшее время провести такие же занятия со своими ротами. Кроме того, — усмехнулся Тихонов, — надо заснять эту бочку на фотографию и поместить в альбом истории нашего батальона.

## 15

Открытие батальонного клуба совпало с двумя значительными событиями. Одно из них было масштабов потрясающих, мировых. После ожесточенных боев на подступах к Москве Красная Армия обратила немцев в бегство. Каждый день Совинформбюро сообщало о новых городах, отвоеванных нашими войсками. Второе событие было местного, батальонного значения, но тоже важное, вызвавшее много толков и тронувшее сердца всех бойцов. По приказу вышестоящего штаба батальону капитана Тихонова предстояло выделить в формирующуюся маршевую роту взвод лучших, хорошо обученных бойцов.

Таких бойцов теперь в батальоне было уже немало, и, посоветовавшись, Тихонов и Буткин решили отбор произвести по принципу добровольности, на основании личных рапортов. Но, как и можно было ожидать, ехать на фронт изъявил желание весь батальон. У Власова скопилось две пухлые папки рапортов. Буткин перечитал их и, подозвав Тихонова, сказал:

— Ты послушай, Прохор Андреевич, что бойцы пишут. Ефим Демидков заявляет: «Отпустите на фронт. Душа истомилась. По ночам снится мне тятя, разорванный немецкими танками. Вижу я его как живого. Приходит он будто ко мне и все попрекает: «Когда же ты, сын, отомстишь им за меня и Леню?»

— Ну, это бесспорная кандидатура, и выучка у него отличная, — проговорил Тихонов, и комиссар отложил рапорт в особую папку.

— А вот рапорт Прокофия Подкорытова: «На Халхин-Голе всыпал японцам по первое число. Немец тоже не каменный. Прошу...»

— Подождем. Этот может пригодиться здесь, — сказал капитан.

— «Немцы разоряют колхозы... Я, как особо приверженный к колхозной жизни, увидевший через нее свет в своей батрацкой доле...» — читал Буткин.

— Это Петухов? — спросил Тихонов.

— Он.

— Подождет. Слабоват еще в стрельбе.

— «Считаю своим святым долгом комсомольца быть там, где решается судьба Родины. Обещаю, что в бою не

запятнаю имя нашего батальона. Викториан Соколков», — прочитал Буткин и вопросительно взглянул на Тихонова.

Капитан в задумчивости почесал затылок, убежденно сказал:

— Этому верить можно, а только тоже подождем. Молод.

«Исходя из желания сражаться за Родину на западе и на основании вашего предложения...» — читал Буткин.

— Что это за канцеляризм? Исходя да на основании... — проговорил нетерпеливо Тихонов.

— Шлёнкин.

— А, вон кто! Шлёнкин! Ну, этот пусть еще у нас в котле поварится. Бутылки и гранаты в танк метать научился, а стрелять не умеет.

— И вот послушай-ка, Прохор Андреевич, что Соловей пишет: «Категорически настаиваю на отправлении меня на фронт. Желаю принять непосредственное участие в освобождении от фашистской заразы моей родной области — Смоленской. Если будете препятствовать — убегу на фронт самовольно».

— Я вот ему покажу самовольно! Я вот его посажу на губу суток на пять, пусть он там кое о чем подумает. Ишь выискался гусь какой! Самовольно! Оставить! И пусть дисциплине научится! — разгневанно проговорил Тихонов.

Так в течение полудня Буткин и Тихонов перебрали все рапорты, отобрав взвод достойнейших, дисциплинированных, отлично натренированных бойцов...

Теперь эти бойцы сидели в первых рядах, проводя свой последний вечер в батальоне, с которым они успели сродниться за эти незабываемые, трудные месяцы.

Клуб, если можно назвать клубом продолговатую, низкую землянку, тускло освещенную двумя лампами, был набит до отказа. Люди сидели и стояли, плотно притиснувшись друг к другу. Одни из них сгибались, другие вытягивались, но каждый помнил, что он не в настоящем театре, что позади стоит товарищ.

Да, впрочем, неудобства, которые испытывали зрители, были сущими пустяками, и большинство их просто не замечало. В клубе царила атмосфера искренней праздничности и веселья.

После выступления Буткина, произнесшего теплое

напутственное слово уезжающим на фронт, на сцену — обычные доски, настланные на три еловых сутунка, — вышел Шлёнкин.

— Начинаем концерт красноармейской художественной самодеятельности. Позвольте, прежде всего, от нашего коллектива участников выступления передать вам нежнейший сердечный привет, — с серьезным видом, чувствуя себя чуть ли не на сцене московского театра, проговорил Шлёнкин.

Зал аплодировал. Шлёнкин все с тем же серьезным видом переждал, пока стихнут хлопки, и отвесил в зрительный зал глубокий поклон. Ничего не скажешь, в роли конферансье Шлёнкин был хорош по-настоящему! Знать, недаром там, в «системе», доверяли ему руководить банкетами. Искусность Шлёнкина на этом поприще тотчас же заметили и оценили:

— Ну, черт, дает дрозда! — восторженно воскликнул кто-то из бойцов.

Шлёнкин внимательно посмотрел в зал, как всякий знающий свое дело конферансье, присматриваясь к публике и оценивая, каковы шансы на успех, и вдруг, совершенно артистически взметнув бровями, проговорил:

— Выступает Викториан Соколков. Стихи Константина Симонова: «Майор привез мальчишку на лафете».

Произнеся эти слова, Шлёнкин с достоинством удалился в угол сцены, а его место занял Соколков.

Стихи тронули слушателей, и Соколкова наградили такими дружными аплодисментами, что даже сдержанный, в силу своих особых обязанностей, Терентий Шлёнкин и тот расплылся в довольной улыбке.

Еще больший успех ожидал Витю после прочтения поэмы Симонова «Сын артиллериста». Ему так бурно хлопали, что пришлось, по настоянию Терентия, три раза выходить на сцену и кланяться. Когда же Соколков, подстрекаемый все тем же Шлёнкиным, вышел в четвертый раз, кто-то крикнул:

— Да ты брось кланяться, стихи еще читай!

И тут Соколков откровенно признался:

— А стихов больше читать не могу. Не разучил еще.

Соколков повернулся, чтобы покинуть сцену, и лицом к лицу встретился с Терентием. Прозрачно-голубые глаза Шлёнкина выражали негодование. Он зашипел на Соколкова:

— Деревня! Вести себя на сцене не умеешь: «Не разучил еще...»

Сконфуженный и расстроенный выговором Шлёнкина, Соколков с большим трудом пробрался в зал и пристроился рядом с Егоровым, на петлицах которого отливали блеском только что нацепленные кубики.

— Можно с вами, товарищ лейтенант? — обратился к нему Соколков.

Егоров закивал головой и, подвинувшись, уступил Соколкову конец скамейки.

Шлёнкин между тем объявил новый номер. Выступал Подкорытов. Все уже знали, что Подкорытов отличный плясун, и потому, не дожидаясь выхода его на сцену, захлопали и закричали:

— Ну, дай, Проня, дай ходу пароходу!

Подкорытов выскочил на сцену и под звуки баяна, на котором играл сержант Соловей, рассыпал ногами такую дробь, что можно было подумать, будто где-то неподалеку застрочил пулемет.

Потом он принялся проворно и стремительно, как бесенок, носиться по сцене, выделывая руками и ногами такие замысловатые и потешные коленца, что зал загрохотал от дружного смеха.

Подкорытова вызывали бесчисленное количество раз, требуя повторения всего номера с самого начала. Но склонить его на это не удалось.

Как опытный конферансье, Шлёнкин дал занавес. Он был дальновиден и расчетлив. Нельзя было давать новый номер, зрители еще не пережили до конца всех впечатлений от выступления Подкорытова.

Через две-три минуты по распоряжению Шлёнкина занавес, представлявший собой скрепленные плащ-палатки, раздвинулся, и Терентий объявил:

— Выступает Илларион Власов, пародии на западноевропейские танцы.

Власов вышел загримированный и одетый под денди, словно только что сошедший с обложки иллюстрированного заграничного журнала. На нем были лаковые черные туфли, узкие, обтягивающие его полные ноги брючки в полоску, такой же узкий пиджак, котелок из черного, блестевшего даже при свете лампешек атласа. В руках Власов держал затейливо расписанную серебряной проволокой трость. В клубе никто и не подозревал, что все эти

вещи Власов раздобыл под большой залог в Доме культуры узловой станции.

Власов поклонился в зал, кивнул слегка баянисту и подбросил трость. Потом он передернул плечами, вытянул шею и с остекленевшим взглядом, притопывая ногами, двинулся к самому краю сцены.

Власова вызывали не меньше, чем Подкорытова, и два или три танца он повторил по требованию зрителей.

Программа выступления самодеятельности была обширной, и после Власова, сменяя друг друга, на сцену выходили то старший лейтенант Синеоков с мандолиной, то Василий Петухов, рассказавший две народные сказки, то группа бойцов, исполнивших украинский танец. Участвовал в концерте и Терентий Шлёнкин. Он спел несколько отрывков из популярных оперетт. Пел Шлёнкин серьезно, без кривлянья, и окончательно убедил всех, что в чем, в чем, а в пении он знаток немалый.

Последний номер исполнял сержант Соловей. Номер этот назывался «Утро на колхозном дворе».

Соловей вышел на сцену вместе со Шлёнкиным. Шлёнкин выступал в качестве ассистента Соловья, так как номер сопровождался литературным текстом.

— Тихая летняя ночь миновала. Белеет восток. Приближается день. В роще пробуждаются птички, — с торжественной приподнятостью прочитал по бумажке Шлёнкин.

Соловей тотчас же засвистал, защелкал, наполняя клуб разноголосым птичьим пением. Зрители замерли, затаили дыхание. За стеной была уже зима, бесновался холодный ветер, а тут, в клубе, разливали свои трели жаворонки, чечетки, синицы, кулички.

— Пробуждается и колхозный двор. Из кутухов вылезают сторожевые псы, в стойлах поднимаются коровы, все эти пеструшки, буренки, субботки, — прочитал Шлёнкин, а Соловей принялся взвизгивать, побрехивать, мычать, и опять все это проделал так умело, что слушатели заулыбались, переглядываясь и озираясь: уж и в самом деле не оказались ли они каким-либо чудом на колхозном дворе?

— Вот зарозовел восток, ударил первый луч раннего солнца и ожил, пришел в движение колхозный птичник, — прочитал Шлёнкин.

Соловей закукарекал, закудахтал, загоготал по-гусиному. Потом он при помощи ладоней передал звук хлопающих крыльев. Но это уже было верхом искусства, и зал разразился аплодисментами, смехом и криками одобрения.

Концерт закончился, когда было уже далеко за полночь. И участники выступления и зрители разошлись по землянкам довольные, возбужденные, словно с обновленными душами.

## 16

В один из декабрьских дней, когда мела поземка из снега, перемешанного с песком, Тихонов сидел у себя в землянке и писал жене. Буткина и Власова не было, они рано утром ушли в роты, и Тихонов спешил до их возвращения закончить письмо. С ответами жене он всегда безбожно затягивал. В круговороте дел, обязательных, срочных, неотложных, нелегко было выбрать даже полчаса, чтобы сообщить жене и детишкам о своем житье-бытье.

Тихонов уже заканчивал письмо, когда вошел Трубка, боец, отоплявший землянку Тихонова и наблюдавший за чистотой в ней. Трубка был самый пожилой боец в батальоне, военное дело ему давалось с невероятным трудом, и Тихонов перевел его в хозяйственный взвод.

Трубка осторожно, без стука, сложил возле печки охапку дров, поднялся, невыносимо растягивая слова, проговорил:

— Товарищ капитан, там, за дверью, командёрша, почтарь привез...

— Какая командёрша? Какой почтарь? И говори, Трубка, пожалуйста, побыстрее, не тяни за душу, — не отрываясь от письма, сказал Тихонов.

Но переделать Трубку было немыслимо, и он, все так же растягивая слова, пояснил:

— Командёршу наш батальонный почтарь со станции привез, до вас просится.

— Ну, коли просится, так веди. Что ж ты людей держишь на морозе, — все еще толком не понимая, что произошло, сказал Тихонов.

Трубка не торопясь вышел, а несколько секунд спустя в землянку вошла девушка. Она была одета в солдатскую

светло-серую шинель, в шапку-ушанку и порыжевшие сапоги. И шинель и шапка были явно не по росту и неловко висели на ней. В левой руке девушка держала маленький чемоданчик.

— Товарищ капитан, — приложив свободную руку к шапке, проговорила девушка, — военврач третьего ранга Екатерина Тарасенко прибыла в ваш батальон для продолжения службы.

— Военврач? — не в силах скрыть своего изумления, проговорил Тихонов, пораженный юным видом врача.

Девушка уловила это изумление и, вероятно расценив его как-то по-своему, смутилась. Тихонов заметил ее смущение и, стараясь скорее сгладить свою нетактичность, горячо принялся приглашать девушку пройти:

— Да вы проходите, пожалуйста, проходите! Трубка! Эй, Трубка! Куда тебя унесло? Давай разжигай скорее печь, заморозил ты врача на улице, — возбужденно проговорил Тихонов, когда на его возгласы Трубка вошел в землянку несколько проворнее, чем обычно. — И раздевайтесь, товарищ военврач, раздевайтесь. Мы живо сейчас с Трубкой тепла подбавим, — проговорил более спокойно Тихонов и бросился помогать Трубке разжигать печь.

«Ну, не ждал я, не ждал, что врач наш окажется женщиной. Что я с ней буду делать? Свободных землянок нет, холодище везде, дрова на исходе... И какой это сукин сын придумал молоденькую девушку отправить в такую дыру...» — возясь у печки, раздумывал Тихонов.

Когда он поднялся, Екатерина Тарасенко сидела уже у стола, украдкой осматривая землянку. Теперь, без шинели и шапки, она показалась Тихонову совсем девочкой. У нее было худенькое личико, большие голубые глаза и густые волосы, похожие на расчесанный лен.

Тихонов, не отходя от печки, пристально посмотрел на нее, и отцовское чувство к этой девушке поднялось в его душе.

«Ах ты, моя миленькая, хорошенькая, жить бы да жить тебе дома, под крылышком мамы, бегать по подружкам да наряжаться. И куда я только тебя, такую славную, деваю здесь...»

— Ну, как вы добрались до нас? — спросил Тихонов, желая нарушить неловкое молчание, которое установилось в землянке.

— Ой, не говорите, товарищ капитан, я так устала, так устала... Я еду уже больше трех недель,— проговорила Тарасенко слабым голосом.

И Тихонов только сейчас заметил, что она изнемогает от усталости. Под глазами у нее темнели землистые пятна, и она невероятными усилиями боролась со сном.

— А вы разве сейчас не из Читы? — спросил Тихонов.

— Сейчас да. Но в Чите я была всего лишь от поезда до поезда. Мне в отделе кадров вручили предписание и приказали выехать немедленно к вам, не разрешили даже выспаться...

«Чинуши там, в вашем отделе кадров»,— с яростью подумал Тихонов и взглянул на девушку с нежностью.

— А вообще-то, я еду из Казани. Вначале я направилась в Москву, в Главсанупр, а оттуда меня направили на восток. Я, конечно, хотела на запад, но приказ есть приказ,— сдержанно улыбнулась Тарасенко.— Тут даже не помогли папины связи. Он профессор казанского медицинского института, и в Москве у него много друзей и учеников,— пояснила она, поймав вопросительный взгляд капитана.

«Боже, дочка профессора! Наверняка привыкла жить в холе, в неге. Ну что я с ней буду делать? Куда я ее тут пристрою?» — подумал Тихонов и поспешно спросил:

— Вы вот что, товарищ военврач, есть хотите?

— Есть не хочу, товарищ капитан, а спать — смертельно,— смущаясь, проговорила Тарасенко.

— В таком случае решим так: я вам закажу завтрак, а пока его готовят, вы спите. Ложитесь на мою койку, ложитесь без всяких стеснений,— сказал Тихонов, думая, что девушку придется уговаривать лечь на его постель. Но та поспешно поднялась, взяла свою шинель и, не скрывая удовольствия, легла на койку.

— Правда, не очень-то мягко на моей соломенной перине,— проговорил шутливо Тихонов, когда Тарасенко укрылась шинелью.

— Ничего, по-солдатски,— опуская голову, улыбнулась Тарасенко, в тот же миг засыпая.

«По-солдатски! Да знаешь ли ты, что такое по-солдатски?» — подумал Тихонов и, на цыпочках подойдя к Трубке, вполголоса приказал тому отложить уборку до пробуждения врача. Трубка понимающе закивал головой.

а Тихонов с большой осторожностью вышел из землянки на улицу.

Спустя несколько минут он встретил возвращавшихся из второй роты Буткина и Власова. Завернув в клуб, они устроили тут совещание. Тихонов кратко доложил, какова обстановка: врач — девушка, притом молоденькая и очень хорошенькая. А самое главное, что она дочка видного профессора и вряд ли имеет закалку, необходимую для жизни здесь. К тому же землянок свободных нет, дрова кончаются, надеяться на их подвоз нет никаких оснований. С сегодняшнего дня он сократил всем командирам дровяной паек наполовину.

— Что ж, выходит, надо назад ее отправлять? — недовольным тоном спросил Буткин, когда Тихонов высказал все тревоги до конца.

— Да если б она сама этого пожелала, я бы немедленно в штаб обратился,— сознался Тихонов.— Ты сам подумай, Петр Петрович, разве ей, такой молодой да красивой, место у нас? Ее надо куда-нибудь в госпиталь направить. Есть же госпитали в Чите, в Иркутске, там она хоть в тепле будет.

Буткин удивился.

— Я тебя не понимаю, Прохор Андреевич! И чего ты так обеспокоился? Ну, пусть молоденькая. Молодость делу не помеха. Ну, пусть красивая. Что ж в том? Красота тоже делу не мешает. А то, что дочь профессора, так разве это беда? Профессор-то наш, советский, и я не думаю, чтоб дочь у него была тепличным созданием. Разберись, так она еще комсомолка. Вот насчет отдельной землянки стоит подумать. Неудобно девушку помещать в общую.— Помолчав, Буткин закончил с легкой усмешкой: — Ты как хочешь, Прохор Андреевич, а я доволен, что наш врач — женщина: мату хоть поубавится. Такой мат развели, что проходу нет...

— Это все так, а только что мы с ней делать будем, если батальону придется зимой в траншеи выходить? Жить придется на ветерке,— проговорил Тихонов.

— А что тут страшного? Приспособится! — уверенным тоном сказал Буткин, а Власов энергично подтвердил:

— В два счета приспособится, товарищ капитан.

Тихонов задумался, что-то подсчитывая или вспоминая, и, посидев в таком положении минуту-две, сказал:

— Вот что, Власов, врача поместим в землянке, где размещена сейчас каптерка первой роты. А каптерку соединим с каптеркой второй роты. Землянка у них большая, и там вполне можно разместиться. Давайте пошлите кого-нибудь за Королёвым и Синеоковым. Пусть придут сюда, чтобы договориться.

Власов вышел, а когда он минут через пять вернулся, Тихонов спросил его:

— Фанеры у тебя много, начальник штаба?

— Откуда ее будет много-то, товарищ капитан? Мишени ведь для всех взводов поделали. Вы же сами приказывали.

— А ты не скупись, Власов. Стыдно нам будет, если единственная в батальоне женщина окажется в плохих условиях. Придется отпустить Королёву несколько листов, чтоб потолок в землянке врача фанерой заделали, а то такие куски оттуда валятся, что напугать могут. Сегодня я испытал это. Лежу сплю, вдруг слышу: кто-то бац меня по лбу. Я очнулся с испугу, зажег спичку, вижу: на постели лежит кусок ссохшейся земли.

— Этак, Прохор Андреевич, и родимец мог бы приключиться,— засмеялся Буткин.

Власов между тем что-то подсчитал на листе своей записной книжки и, пряча карандаш в полевую сумку, проговорил:

— Фанеры, товарищ капитан, у нас осталось двенадцать листов.

— Не богато, но на отделку землянки врача надо все-таки дать листов пять. Вот так,— проговорил Тихонов.

Вскоре пришли Синеоков и Королёв, и разговор принял еще более обстоятельный характер. Речь пошла о том, как лучше фанерой обшить потолок, где раздобыть стол, кровать, лампу, стоит или не стоит белить печку, делать ли внутренний запор в землянке и так далее, и все в таком же духе.

А когда разговор в клубе с командирами рот закончился, весть о приезде девушки-врача уже облетела весь батальон. Почтарь Тряпкин не пощадил ног и обегал все роты, сообщая сногсшибательную весть. «Врача, братки, привез, у нас в батальоне служить будет, размолоденькая, расхорошенькая, ни в сказке сказать, ни пером описать. Такая разок посмотрит, будь при смерти, а и то подымешься...» — болтал на каждом перекрестке Тряпкин, про-

званный бойцами за свою склонность к болтовне Трёпкиным.

Не прошло и часа после совещания в клубе, а каптерка первой роты переселилась в расположение второй роты, и в освободившейся землянке начались спешные работы по оборудованию жилища для военврача Тарасенко, которая все еще спала в эти часы крепким, безмятежным сном, не зная, не ведая, сколько хлопот принесла она своим появлением в батальоне капитана Тихонова.

## 17

Егоров поднялся в четыре часа. Сунул ноги в сапоги и, набросив шинель на плечи, вышел из землянки. Сделав два-три шага, остановился, поднял голову, сторожко прислушался. Небо было звездное. В пади тихо, безветренно. Маячили в сумраке часовые.

«Тишина. Хорошо. Можно поднимать людей»,— подумал Егоров и заспешил обратно в землянку. Возле двери он опять остановился, закинув голову, посмотрел на мерцающие и перекатывающиеся звезды. Чем-то далеким и в то же время знакомым-знакомым повеяло на него от этой картины. Припомнилась юность: он живет в работниках у кулака Калинникова в большом трактовом селе. Хозяин содержит постоялые дворы, торгует скотом. Филипп на трех лошадях возит с лугов сено. За день он должен съездить на луга не меньше трех раз. Зимний день короток, и волей-неволей приходится прихватывать ночь. Уставшие лошади мерно шагают по неторному зимнику, освещенному серебряным месяцем. Филипп завернулся в доху, лежит на возу, на спине, смотрит в небо, звезды отрываются, перекатываются, вычерчивая брызжущие искорками дорожки...

...Рота поднялась бесшумно, команды отдавались вполголоса. Батальон еще спал по землянкам, и Егоров приказал не тревожить покой остальных бойцов. «Уйдем полисьи, без шороха и шума, хватятся, а нас уже нет»,— думал он.

Но уйти незамеченными не удалось. Когда рота проходила мимо землянки, в которой жило командование батальона, Егорова окликнули:

— Лейтенант!

У землянки стоял Тихонов.

— Не поморозьте бойцов.

— Мороз-то детский, товарищ капитан!

Тихонов продолжал стоять у землянки, сквозь сумрак приглядываясь к роте.

Когда миновали падь Ченчальтюй и высокие сопки, стеной окружавшие ее, остались позади, резкий ветер ударил в лицо. Филипп недовольно крякнул. Тишина, царившая в пади, оказалась обманчивой. Но возвращать роту не захотел, рассудил так: тихой погоды в этом краю почти не бывает, а ветер сегодня не такой уж сильный, чтобы откладывать учение.

Василий Петухов шагал с ним рядом и еще больше укрепил его в этом мнении.

— Ветерок хоть и колючий, а на рассвете ослабнет,— с уверенностью сказал он.— У нас на Алтае так же: ночью разыграется буран — беда, дневной свет ударит — ветер сразу на покой.

Дней десять тому назад Василий Петухов стал политруком третьей роты. Произошло это неожиданно. По требованию политотдела Буткин заполнил анкеты и составил характеристики на пять коммунистов батальона с целью присвоения им званий заместителей политруков.

В политуправлении, куда были направлены все документы, к кандидатуре Петухова подошли с большим вниманием. Член партии с двадцать пятого года, бывший секретарь сельской партячейки, а потом многолетний бессменный председатель передового колхоза, он обладал достаточным практическим опытом, чтобы вести самостоятельно политическую работу в армии. Он не имел, правда, военной подготовки, но сколько было в те дни таких Петуховых, познававших военное дело на практике...

Петухова вызвали в Читу, в политуправление, а через неделю он вернулся оттуда с двумя кубиками на петлицах, в звании младшего политрука.

Рота отнеслась к этому назначению с единодушным одобрением. По знанию жизни, по разностороннему опыту Василий Петухов мог годиться любому из бойцов в отцы и наставники.

Егоров же этому назначению просто обрадовался. Политрук знал роту, знал каждого бойца не хуже самого себя. Ему не хватало теоретических знаний, но насчет теории Петухов мог кое-что призанять у Егорова...

— А ветерок-то того, схватывает за душу, надо немножко прогреть бойцов,— сказал Егоров, растирая рукавицей стынувшее лицо.

— Ро-та, бегом марш! — протяжно скомандовал он.

Ветер подхватил его команду и понес по степи. В ответ, словно эхо, откуда-то из глубины сопок донесся заунывно протяжный звук. Это голодный волк жаловался на свою одинокую судьбу.

Бойцы побежали, мелко перебирая ногами и прижимая локти к бокам. Они были одеты в ватные стеганые брюки, в короткие, сильно поносившиеся шинели, в большие тяжелые ботинки и в шапки-ушанки.

Одежда для этих мест, с ветрами и морозами, была малоподходящей. Тихонову обещали завезти полушубки и валенки, но дело это затягивалось, и по вполне понятной причине: армия разрослась до размеров невиданных. Снабдить всех зимним обмундированием одновременно и в одинаковой степени было немыслимо.

После короткой пробежки Егоров приказал роте перейти на нормальный шаг. На бегу все разогрелись. Ветер словно потеплел. Небо с приближением рассвета темнело, опускалось ниже, и степь, широкая, необжитая и даже страшная при холодном освещении звезд, становилась в сумраке более собранной и уютной.

— Песню бы, товарищ лейтенант! — сказал Василий Петухов.— Идти с песней гораздо лучше.

— Как, товарищи, споем, что ли? — обратился Егоров к роте.

Несколько человек дружно выразили согласие. Запевал Подкорытов, высоким, звеневшим даже здесь, на таком неохватном просторе, голосом:

Мы — из-за Байкала,
От Амур-реки.
Всё народ бывалый,
Меткие стрелки.

Полторы сотни голосов подхватили, и понеслось по степи:

Всё народ каленый
Солнцем Ангары...
Штык наш вороненый —
Смерть для немчуры.

Песня подтянула всех. Шагавшие не в ногу подравнялись, расправили плечи. Кто-то начал отбивать шаг. Остальные поддержали. Рота шла стремительно, дружно, как один человек.

От песни, от этих звезд, сиявших в вышине, от плеч товарищей, которые шагали справа и слева, в юной душе Соколкова вспорхнула волшебная жар-птица — пылкая мечта. И сразу весь его мир окрасился в желанные краски живой фантазии.

Нет, не по безлюдной степи шагает он, Викториан Соколков. Он идет по улицам далекой и дорогой Москвы. Эти сопки, громоздящиеся в предутреннем сумраке, не сопки, а большие многоэтажные дома родной столицы.

Работайте и спите спокойно, люди, он, Викториан Соколков, там, в битве с врагами, постоит за ваше счастье...

Может быть, он падет на поле брани... Мама, ты прольешь немало горьких слез, и у папы появится новая прядь седых волос, но зато никто, ни один человек не упрекнет вас в том, что сын ваш был трусом...

Наташа! Помнишь ли, как на высоком берегу, под тихий, убаюкивающий плеск речной волны мы мечтали о будущем?! О, как прекрасны эти мгновения! Нет, нет, ради этих мгновений стоит жить. И он будет жить! Ведь где-то вдали есть тот день, когда кончится война... Какой же это будет день? Под каким числом он значится в календаре?

Соколков мысленно представил свое возвращение из армии. Он идет по длинному коридору университета. Его вначале не узнают, он повзрослел, на лице шрамы, припадает на одну ногу. Но вот из какой-то аудитории выскочила она, Наташа. Викториан! Ее возглас разнесся по всему зданию, и толпа друзей, бывших однокурсников, окружила его...

Жар-птица беспокойно металась в душе Соколкова, взмахивая крыльями, озаряя своим светом далекое, грядущее...

Как хорошо думается под песню! И ничто — ни ветер, ни снег, ни мороз — не мешает размышлять...

«Идем в степь... ночь, ветер, сокращаем и без того короткие часы сна и отдыха. Ради чего? Что нас двигает? А там, на западе, в этот час, может быть, под огнем врага поднимаются в атаку наши побратимы. Родина... Она дает нам силы, и ей мы возвращаем их в виде подвигов. По-

двиг? Но что такое подвиг? Вот наше существование здесь, все эти походы, стрельбы, караулы — что все это? Подвиг? Ну, сказал! Приукрашиваешь, товарищ. Хочешь подороже оценить свой однообразный и рядовой труд. Честолюбив ты не в меру.

Нет, подожди, не будь тороплив. Подвиг сложнее, чем тебе кажется. Если твои ученики с настоящим воинским умением бьют на фронте врага, то разве в их подвигах нет частицы, содеянной твоими усилиями?

Подвиг многогранен как сама жизнь. Иногда он требует секунд, иногда часов, но очень часто многих лет, а то и всей жизни. И в чем бы он ни проявился, какой бы характер он ни носил — истоки его одни: цельность души и высокая осознанность человеком своего места в жизни... А теперь взгляни на себя, взвесь все и подумай: есть ли у тебя основания для самоуничижения».

Так, споря сам с собой, то утверждая, то низвергая собственные мысли, раздумывал Филипп Егоров.

А Василий Петухов, всматриваясь в широкие степные просторы, мысленно примеряя, сколько здесь можно поставить сена, сколько можно запустить отар на пастьбу, думал о своем:

«Нелегко придется в войну колхозам. Счастье тем из них, у которых найдутся расторопные, умные женщины. Вся надежда теперь на них. В мирное-то время надо б нам посмелее выдвигать их на разные должности...»

«...А снега здесь мелкие, лежат косяками. Трава же щетинистая, устойчивая. Места эти для тебенёвки пригодны. Скот тут можно вырастить особой северной породы. Нет, не пропащая в этих краях земля. Напрасно мы зовем ее бесплодной...»

## 18

Было уже около одиннадцати часов дня, когда взводы сосредоточились на рубежах атаки. Главная трудность учения состояла в том, что самого населенного пункта, наступательный бой за который разыгрывала рота, не было и в помине.

Вместо домов по пади были разбросаны огромные, громоздившиеся в хаотическом беспорядке каменные валуны. На дома они, конечно, не походили, но тянулись полосой,

между ними лежали значительные промежутки, и условно все это можно было принять за улицу и переулки.

Населенных пунктов в пограничной полосе поблизости не было, и Егоров радовался и тому, что есть. Все-таки разыгрывать бой за населенный пункт здесь было нагляднее, чем в голой степи, где не росло ни одного кустика и не за что было зацепиться. Из-за этих валунов стоило тащиться пятнадцать километров по открытой местности.

Игра протекала по этапам: марш, разведка и рекогносцировка, завязывание боя и, наконец, атака.

Наступление Красной Армии в Подмосковье было широко описано в печати, и Егоров использовал в игре все новейшие достижения фронта. Он создал штурмовые группы для удара по опорным пунктам противника, учел возросшую насыщенность армии техникой, придав взводам, условно конечно, отдельные орудия, минометы, станковые пулеметы, противотанковые ружья.

Тактическая сторона игры была продумана не менее тщательно. Егоров выдвинул один взвод в тыл противника, применил охват с фланга и общую атаку роты на последний опорный пункт врага провел при участии всех бойцов.

Когда Егоров увидел на вершине одного из самых больших валунов Соколкова, державшего в вытянутой руке винтовку и с упоением кричавшего «ура», он пожалел, что нет поблизости капитана Тихонова.

Атака была разыграна с таким порывом и единодушием, что капитан не мог не похвалить роту за ее стремительные действия. Егоров не был падким на похвалы, но одобрения капитана Тихонова всегда рождали в его душе чувство удовлетворения.

«Ах, Соколков, какой молодец! Опять впереди всех!» — подумал Егоров и, схватив болтавшийся на шнурке обыкновенный кавалерийский свисток, подал протяжный сигнал, означавший конец учения.

Скользя и падая, Егоров по щербатой боковине валуна взобрался на вершину. Вокруг валуна стояли бойцы с раскрасневшимися и потными лицами, в мокрых шинелях, в шапках, сдвинутых на затылки. От разгоряченных лиц клубился пар, будто бойцы только что вымылись в бане.

Егоров обвел взглядом бойцов и, заметив, как возбужденно блестят их глаза, с какой преданной внимательностью они смотрят на него, подумал: «Подчиненные! Ну и

словечко! Да разве они мне только подчиненные? Друзья, братья... Теперь я с ними и в настоящий бой пошел бы со спокойным сердцем».

— Хорошо, товарищи, в атаке действовали,— сказал Егоров.— По-суворовски: быстро, инициативно, дружно. Особенно отличился взвод Наседкина. Объявляю этому взводу благодарность. Отдельно объявляю благодарность красноармейцам Соколкову и Шлёнкину. Почему Соколков оказался первым на вражеской высоте? Да потому, что Шлёнкин вовремя поддержал его маневр. Увидев, что Соколков подбежал к валуну и взбирается на него, Шлёнкин поспешил на помощь и подставил тому свою спину. Это и есть настоящая боевая поддержка товарища... За такое поведение в бою — ордена и медали дают...

Витя Соколков слушал все эти слова с серьезным видом, опустив глаза, а Шлёнкин, выставив грудь, не скрывая своего удовольствия, показывал всем свои крепкие, белые зубы.

Егоров намеревался тут же, на месте учения, провести подробный разбор игры, но в степи стало вдруг серо и тихо, как в сумерки. Посмотрев вдаль, за сопки, Егоров увидел надвигающийся степной снегопад.

«Надо спешить в гарнизон»,— подумал он с острой тревогой.

— Разбор учения проведем, товарищи, на месте,— проговорил Егоров и спрыгнул с валуна. В те же секунды мелкая снежная пороша, словно густой туман, надвинулась на падь, и все поняли, почему командир роты торопится в гарнизон.

— Вот дьявольское местечко! — выругался Петухов.— Все тут не в меру. Солнце начнет светить — жара несносная, дождь пойдет — будто реки с неба хлынут, ветер подует — коня с ног валит, снежок вот затрусит — света белого не видно...

— А знаете, товарищ младший политрук,— поблескивая глазами, со смехом проговорил Соколков,— это все для нас сделано. Как по заказу. Все, дескать, испытайте, всего отведайте...

— Да, уж закалочку тут пройдем — будь здоров! — авторитетно вставил Шлёнкин, и по тону его голоса и по сияющему лицу можно было догадаться, что он все еще возбужден благодарностью, объявленной ему командиром роты.

Слова эти были так необычны для Шлёнкина, что бойцы посмотрели на него и молча переглянулись. В роте знали, каким великим скептиком был Терентий Шлёнкин. Всего лишь вчера, когда стало известно, что будет разыгрываться бой за населенный пункт, обещавший быть очень поучительным, Шлёнкин перекосил пухлые губы и сквозь зубы изрек свое любимое словечко: «Шило!» Бойцы давно знали, что, раз Шлёнкин сказал «шило», значит, он полон неверия в пользу предпринимаемого дела.

«Э, да тебя, друг мой, надо почаще похваливать, на вид всем другим ставить. А я-то нотациями хотел тебя пронять»,— подумал о Шлёнкине Егоров. Но сейчас было не до Шлёнкина, и Егоров тут же забыл о нем. Снежная пороша начала колыхаться от порывов ветра и с остервенением стегать бойцов по лицам.

— Ро-та, в походную колонну стано-вись! — крикнул Егоров.

## 19

Петухов первым понял, что они заблудились. Он хорошо запомнил ребристую сопку с обнаженными каменистыми жилами густо-ржавого цвета. Когда рота, проделав неведомый круг по степи, возвратилась опять к этой же сопке, Петухов сказал Егорову:

— Товарищ лейтенант, мы здесь уже были полчаса тому назад.

У Егорова пока и мысли не возникало, что они сбились с пути, и он удивленно посмотрел на политрука.

— А по-твоему, Василий Ефимыч, в каком направлении падь Ченчальтюй? — помолчав, спросил Егоров.

Петухов махнул рукой влево от сопки, возле которой они сейчас стояли.

— Ну, брат, ты загибаешь. Падь Ченчальтюй, по-моему, там.— Егоров вытянул руку почти в противоположном направлении.

Они стали припоминать, какие им сопки встречались на пути, но уже через минуту выяснилось, что, по мнению Егорова, все эти сопки находятся влево от них, а по мнению Петухова — вправо.

Егоров раскрыл полевую сумку, полез за компасом и картой. Бойцы, собравшись повзводно, стояли, курили, не подозревая о разговоре, происходившем у комроты с по-

литруком. Но ветер с каждой минутой усиливался и прохватывал теперь до костей. Без движения можно было скоро окоченеть.

— Да в чем дело-то? Почему остановились? — обеспокоенно заговорили бойцы.

Но тут все увидели, что комроты и политрук рассматривают карту, и догадались, что они ищут кратчайший путь. Сам собою возник разговор: где же, в какой стороне лежит желанная падь Ченчальтюй? И вдруг обнаружилось, что все думают об этом по-разному. Поднялся спор, галдеж.

— Позамерзаем, братки, как собаки! А, спрашивается, зачем вели? По степи побегать?!

«Чей это такой загробный голос? — подумал Егоров, подходя к бойцам.— Соловей! Что он — с ума сошел? Да не ослышался ли я? Нет, он...» Егоров так привык считать сержанта образцовым воином, что никак не хотел верить, что все эти слова произносит он.

— Кто там раскаркался? А ну-ка, замолчи! — свирепо закричал Егоров.

Соловей, однако, не замолчал. Он возвысил голос и загнусил еще отвратительнее:

— Позамерзаем, братки, ой, позамерзаем!

— Да ты что, Соловей, блажишь или всерьез? — прикрикнул Егоров.

Соловей захохотал раскатисто, громко, сказал:

— Разыгрываю, товарищ лейтенант, тех, у кого уже поджилки дрожат. Есть ведь и такие! Помалкивают только.

— А-а,— протянул Егоров, не сомневаясь в искренности сержанта и даже испытывая внутреннее неудобство от своего резкого крика.

— Подкорытов,— обратился Егоров к Прокофию,— ты охотник, человек бывалый, как по-твоему, в каком направлении падь Ченчальтюй?

Подкорытов ответил Егорову не сразу. Он прищурил глаза, пошептал какие-то слова, припоминая весь путь движения роты, и только тогда взмахнул рукой.

— А память у тебя, Подкорытов, неплохая, карта и компас показывают то же самое направление,— проговорил Егоров и подал команду двигаться за ним.

Идти стало еще труднее. Колючая, сухая, как песок, крупа хлестала по глазам, порывы ветра рвали полы шинелей, закручивали их вокруг ног. Шагать удавалось ко-

ротенькими мелкими шажками. Видимость все сокращалась и сокращалась. Сопки растворились в снежном месиве. Снегу в воздухе теперь было так много, что стоило вытянуть руку, и она скрывалась из виду, будто погруженная в воду.

Егоров остановил роту, приказал бойцам взять друг друга за пояса. Сам Егоров шагал рядом с Петуховым, а позади, держась за полы их шинелей, двигались командиры первого и второго взводов.

Вдруг Петухов споткнулся, упал, увлекая за собой и Егорова. Со смехом и шутками они поднялись, но через несколько шагов начался крутой подъем, который они не увидели, а определили на ощупь ногами.

— Взять вправо! — скомандовал сам себе Егоров.

Они прошли шагов двадцать и вновь наткнулись на сопку. Приняли еще вправо. Но вскоре уперлись в такой крутой обрыв, что его можно было ощупывать как стену. Попробовали взять влево, однако и тут потерпели неудачу. Сопка словно преследовала их, преграждая дорогу.

— Надо выбираться назад, мы наверняка оказались в каком-то ущелье,— проговорил Петухов. Егоров согласился с ним и повернул, как ему казалось, в обратном направлении. Минут пять они шли по ровному месту, потом под ногами стали попадаться камни, а вскоре они почувствовали, что поднимаются в гору.

— Ничего, пойдем в гору и перевалим эту сопку. Иначе закружимся, собьемся с направления и заблудимся надолго,— сказал Егоров в ответ на предложение Петухова отвернуть от сопки.

Егоров, конечно, был прав, и Петухов, упрямый в других случаях, возражать не стал.

Чем больше они поднимались, тем пронзительнее становился ветер. Когда они оказались, должно быть, на самом перевале, ветер набросился на них с таким остервенением, что они не падали с ног лишь потому, что держались друг за друга. Холод тут был адский. Егоров подергивался, ежился, и ему казалось, что на нем нет ни шинели, ни стеганых брюк и шагает он в одном нижнем белье.

Бойцы крякали все громче, ругались злее, прижимались один к другому крепче. Но помогало это мало.

Рота еще не спустилась с сопки, когда началось то, чего особенно боялся Егоров. У бойцов стали мерзнуть

ноги. Первый заявил об этом Соколков. Он долго молчал, кусал от боли губы, но в конце концов не выдержал и громко простонал.

— Ты что, Витя? — спросил его командир взвода Наседкин.

— Ноги до того озябли, что в сердце покалывает. Терпежу нет,— стараясь говорить со смешком, но не в силах скрыть слез, произнес Соколков.

— И у меня, товарищ старшина, тоже ноги не двигаются!

— И у меня!

— И у меня! — послышались отовсюду голоса бойцов.

Наседкин доложил Егорову. Филипп и сам давно уже чувствовал, как у него коченеют пальцы. Двигайся рота быстрее, ускоренным маршем, возможно, этого не произошло бы, ноги отогревались бы на ходу. Но идти быстрее из-за ветра не было мочи.

Егоров вспомнил строгий наказ капитана Тихонова и обратился за советом к политруку.

— Я бывал на Алтае в таких же переделках и знаю, как тут быть,— проговорил Петухов.

Он энергичными движениями плеч раздвинул бойцов, вошел в середину роты и громко, чтоб слышали все, сказал:

— У кого замерзли ноги, садись на землю, сбрасывай обутку и натирай ноги снегом докрасна.

Петухов быстро опустился, сбросил с одной ноги кирзовый сапог, поддел горсть снега и с яростью принялся растирать ногу. Потом он проворно обернул покрасневшую ногу портянкой и натянул сапог. Когда он принялся проделывать то же с другой ногой, возле него уже сидели Соколков, старшина Наседкин и Прокофий Подкорытов. Остальные бойцы, плотным кольцом окружив товарищей, защищали их от порывов холодного ветра...

## 20

Екатерина Тарасенко проспала до полудня. Очнувшись и еще не открыв глаз, она услышала голос капитана:

— Самое опасное, если они собьются с направления и двинутся в сторону границы. А там разве разберешься, чьи сопки: свои ли, японские ли... Единственно на кого

надежда — на секреты пограничников. Опять же, видимость ни к черту...

Тихонов говорил шепотом, но тревога, какой он был охвачен, прорывалась в его голосе, и Тарасенко лежала, раздумывая: «Что же произошло? А что-то произошло определенно».

— У них же, Прохор Андреевич, компас и карта,— послышался другой голос, незнакомый Тарасенко.— Я вот чем озабочен: мороз, ветер, а одежонка плохая, померзнут... Что-то надо предпринять, и немедля, пока не надвинулся вечер.

— Хе! Компас! Карта! — опять заговорил тревожным шепотом Тихонов.— В такую погоду только по веревке можно безошибочно двигаться... Ну, вот что... Власов! — несколько возвысил голос капитан.

Послышались торопливые, осторожные шаги, и в разговор вступил третий голос:

— Слушаю вас, товарищ капитан.

— Отправляйтесь немедленно на склад, возьмите несколько взрывпакетов и взорвите их в разных местах с небольшими промежутками. Возможно, Егоров услышит это и использует как ориентир.

Власов чуть прищелкнул каблуками и вышел. Потом заскрипели сапоги, и Тихонов удалился из землянки вместе с тем человеком, с которым он разговаривал.

Тарасенко полежала еще с минуту, сладко позевывая и потягиваясь, и вдруг поспешно приподнялась на локте, подумав: «Что же я-то лежу. Кто-то, видно, в степи затерялся, наверняка поморозится, и без меня им не обойтись». Она подобрала ноги, села и, оглянувшись, чтоб узнать, топится ли печка, увидела Трубку. Он сидел в углу на дровах, скрестив руки, и не то дремал с открытыми глазами, не то о чем-то сосредоточенно думал.

— Скажите, товарищ, что произошло в батальоне? — спросила Тарасенко, обвертывая ноги портянками и натягивая сапоги.

Трубка медленно качнулся в одну сторону, затем в другую и, глядя куда-то мимо врача, затянул:

— Н-очью еще третья рота на ученье в поле ушла и по сих пор где-то ходит... А погоду-шка-то — зги не видно...

— Вот как! Целая рота!

«Ах, какая я дуреха, лежу, слушаю, будто не мое дело

людей спасать»,— подумала Екатерина, испытывая укоры совести.

Надела шинель, опоясалась широким ремнем, натянула шапку и выбежала из землянки.

Снежная крупа хлестнула ее по лицу так больно, что она опустила голову и присела. Осмотрелась, не зная, куда идти. «Надо кого-нибудь спросить, где у них штаб размещается»,— подумала девушка. Но спросить было не у кого, и, постояв еще с минуту на одном месте, она тихонечко побрела, надеясь найти штаб без посторонней помощи.

Пройдя метров сто от землянки, она решила вернуться, опасаясь, как бы не уйти от расположения гарнизона в чистое поле. Когда она, по ее расчетам, приблизилась к землянке капитана на расстояние десяти — пятнадцати шагов, мимо нее в снежном месиве промелькнуло черное пятно.

— Товарищ, подождите! — крикнула Тарасенко.

Но черное пятно уже скрылось, возглас ее слился со свистом ветра. Тогда, разбросив широко руки, она кинулась вслед за черным пятном.

— Вы откуда взялись?! — изумленно воскликнул Тихонов, когда девушка на бегу поймала его за рукав шинели.

— Товарищ капитан, я слышала ваш разговор в землянке. Это же... это мое кровное дело, и я должна немедленно отправиться на поиски,— сбивчиво проговорила Екатерина, задыхаясь от волнения и сильных порывов ветра.

— Нет, подождите, не торопитесь... В поле я вас не отпущу, а здесь ваша помощь может потребоваться,— категорическим тоном проговорил Тихонов.— Войдемте в штаб, я вас познакомлю с комиссаром и начальником штаба.

Они вошли в просторную землянку, заставленную скамейками топорной работы и столами, расписанными чернильными пятнами.

— Знакомьтесь, товарищ военврач: это комиссар нашего батальона старший политрук Буткин, а это начальник штаба Власов.

Тарасенко почему-то смутилась и, откозырнув, пожала руку Буткину, а потом Власову, который при виде девушки сам залился алой краской.

— Ну, как вы себя чувствуете на новом месте, товарищ военврач? — проговорил Буткин, с улыбкой поглядывая на Тарасенко и думая: «А ведь Тихонов не зря обеспокоился... девочка... и когда она успела институт кончить...»

— Требует, товарищ старший политрук, в поле ее отправить, на поиски Егорова с ротой,— скрывая под прищуром пристальных глаз дрожащую улыбку, сказал Тихонов.

— Это опасно, товарищ Тарасенко, да и не имеет смысла. Роте все-таки проще уберечь себя от несчастья, чем одному человеку,— мягко, но вполне серьезно сказал Буткин.

— Да, конечно, один человек в поле не воин,— усмехнулась Тарасенко,— но я бы пошла с командой бойцов. Это уже другое дело.

Тихонов и Буткин переглянулись. Это было то, что решили проделать они сами, если не помогут сигналы и рота к вечеру не вернется в расположение гарнизона. Королев и Синеоков готовили уже четыре специальные спасательные команды.

— Решим так, товарищ Тарасенко: с командами в поле мы направим санитаров, а вы останетесь здесь и будете ждать. Кстати, что у нас есть из медикаментов в случае, если возникнет необходимость срочной помощи? — сказал Буткин, обращаясь ко всем сразу.

— Да, да. Я должна немедленно это знать. И потом такой вопрос, товарищ капитан: если потребуется хирургическое вмешательство, где можно развернуть операционную? — проговорила Тарасенко и поднялась, нетерпеливо потирая руки.

Тихонов и Буткин посмотрели на нее. Полминуты назад она сидела робкая и застенчивая, краснея при каждом их взгляде. Теперь она преобразилась: говорила свободно, уверенно, и большие глаза ее отсвечивали стальным блеском.

— Ведомости на наличные медикаменты у меня, товарищ военврач. Вот посмотрите,— порывшись в бумагах, проговорил Власов.

Тарасенко приняла из его рук несколько листков, скрепленных спичкой с обожженной головкой, быстро просмотрела их и, довольная, возвратила листки начальнику штаба.

— Да, вас нельзя назвать бедными. Для батальона такой запас медикаментов — редкость,— сказала Тарасенко, глядя на Власова.

— А главное, товарищ военврач, что все цело. Я так сказал бойцам: ну, товарищи, врача нам не посылают, лечить вас некому, и потому не хворать. И знаете, без вас у нас не было ни одного больного,— рассмеялся Тихонов.

И Тарасенко тоже рассмеялась.

— Операционную можно развернуть, по-моему, у санитаров в околотке. Надо, Власов, распорядиться, чтобы там, во-первых, протопили, а во-вторых, приготовили лампы и чистое белье,— проговорил Тихонов.

Буткин утвердительно закивал головой, а Власов вскочил и прищелкнул каблуком в знак того, что приказ комбата ясен и будет исполнен.

— Я все-таки хотела бы осмотреть околоток сама,— настойчиво сказала Тарасенко.

— Что ж, это можно,— поднялся Тихонов и вдруг поженски всплеснул руками: — Боже мой, да ведь вас покормить надо!

— Потом, товарищ капитан, потом. Пойдемте, пожалуйста.

Раздался взрыв. С потолка на столы посыпалась земля.

— Королев сигналить начал,— сказал Власов.

## 21

Способ отогревания ног, предложенный Петуховым, оправдал себя целиком. Для большего эффекта Егоров подал команду: «Бегом на месте!»

Через несколько минут Соколков доложил о своих ощущениях:

— Тепло от ног, товарищ лейтенант, начинает разливаться по всему телу.

— Точно! — подхватили другие.

— Еще бы! Это до нас с вами задолго люди испробовали,— проговорил Петухов.

Двигались по-прежнему по прямой, то и дело взбираясь на сопки и спускаясь с них. Это еще больше замедляло движение, но зато и давало гарантию правильности и краткости пути.

К вечеру ветер немного ослаб, но стало холоднее. Снегопад поредел. Видимость увеличилась. Сквозь крутящие-

ся снежинки проглядывали очертания сопок. Однако продолжалось это недолго. Сумерки словно подстерегали где-то неподалеку и вскоре смешались со снегом, плотно облегли всю степь. Бойцы устали, шли в суровом молчании.

По расчетам Егорова, еще час назад они должны были войти в падь Ченчальтюй, но пока на это не обнаруживалось никаких намеков.

— Послушай, Подкорытов, мы не сбились опять с направления? — спросил Егоров проводника, шедшего теперь рядом с командиром роты.

— Нет, товарищ лейтенант. Направление мы выдерживаем как по струне, но пройти могли. Где же в такой темноте наши землянки рассмотришь. Они бы там догадались да костерок разложили,— проговорил Подкорытов.

— Костерок! Было бы из чего его сложить... Сегодня комбат сократил топливный паек как раз вдвое,— сказал Егоров.

Вскоре рота с большим трудом поднялась на высокий хребет. «Да, опять сбились, этого каменистого хребта я никогда поблизости не видел»,— невесело раздумывал Егоров.

Вдруг порыв ветра донес до них откуда-то со стороны отзвуки взрыва. Его услышали все, и рота остановилась без всякой на то команды. Ждали несколько минут, не повторится ли взрыв, но ожидания были напрасны. Двинулись дальше. Не успели еще спуститься с хребта, раздались новые взрывы. К счастью, в эти мгновения ветер чуть-чуть призатих, и легко можно было определить, откуда идет звук.

— Я говорил, что мы уже прошли падь Ченчальтюй. Так оно и есть,— сказал Подкорытов.

— Надо взять круто правее, и тогда мы как раз выйдем к гарнизону,— отозвался Егоров.

— А может быть, это не наши рвут, а японцы,— усомнился кто-то вслух. Но эта мысль показалась всем неосновательной, и ее единодушно отвергли.

— Что, вы не знаете комбата и комиссара? Они уже теперь наверняка сами по степи рыщут в поисках нас,— проговорил Егоров, про себя подумав: «Ну, кажется, влепят мне комиссар с командиром за это путешествие... Пусть... Только бы никто не поморозился».

Через полчаса взрывы послышались опять. Они были уже ближе, и это всех сильно приободрило. Когда подня-

лись на одну из сопок, то увидели взлетающие в небо красные ракеты.

Егоров знал, что ракет в батальоне очень немного, хранились они для оперативных целей, и то, что Тихонов разрешил их расходовать, говорило о том, как велика в гарнизоне тревога за третью роту.

— Наседкин, ну-ка дай полувзводом залп. Пусть знают, что мы от них уже недалеко,— приказал Егоров.

Рота остановилась. Наседкин вывел в сторонку два отделения, скомандовал, бойцы вскинули винтовки, выпалили боевыми в небо.

В пади Ченчальтюй, должно быть, расценили этот залп как вопль отчаяния. Послышались один за другим четыре взрыва, и ракеты, разрывая темноту и снеговую наволочь, снова взлетели высоко в небо.

— Ну, как самочувствие, товарищи? Никто еще не поморозился? — обратился Егоров к бойцам, повторяя эту фразу за время движения по меньшей мере в сотый раз. Но теперь приободрились и те, кто вначале приуныл не на шутку.

— Берегите, товарищи, лица, а то темно, и можно без носа и щек остаться,— предупредил Егоров.

Бойцы принялись дыханием согревать руки и растирать лица.

Падь Ченчальтюй оказалась гораздо ближе, чем можно было предположить по звуку.

Роту встретили метров за двести от землянок. В сумраке Егоров рассмотрел группу людей, стоявших в кучке. Кто-то один отделился от нее, шагнув навстречу Егорову.

— Тяжелые случаи обмораживания есть? — прозвучал женский голос жестко и требовательно.

«Это еще что за начальство?» — промелькнуло в уме Егорова, и, прежде чем ответить, он осведомился:

— А с кем имею честь разговаривать?

— Батальонный врач, военврач третьего ранга Тарасенко.

Егоров собрался было ответить на вопрос врача, но тут приблизился Тихонов и задал тот же вопрос, что и Тарасенко.

— Ноги, товарищ капитан, уберегли по способу младшего политрука Петухова, за лица не ручаюсь. Темно...

— Оружие в сохранности?

— В порядке. Учение прошло хорошо. Если бы не снегопад...

Но Тихонов не дал договорить Егорову:

— Поставьте оружие в пирамиды и немедленно в столовую.

— Есть! Слушаюсь!

В столовой, пока бойцы проходили за столы, Тарасенко дала кое-кому мазь для лица и рук. Она ходила по столовой с большой десятилинейной лампой, присматривалась к бойцам. Пища в котлах вновь была подогрета, и миски со щами дымились сейчас густым паром. После щей бойцам подали горячую гречневую кашу, а потом налили по кружке кипятку.

Бойцы ели, обжигались, поглядывали на Тарасенко, переговаривались. Когда обед кончился, она подошла к Егорову, сидевшему вместе с Петуховым за столиком для командиров, сказала:

— Теперь, товарищ лейтенант, я отправлюсь с вами в землянки и уложу бойцов спать.

Егоров промолчал, но про себя подумал: «Начинаются дамские штучки». Деловитость Тарасенко казалась ему немного нарочитой, и где-то в глубине сознания мелькнула мысль: «Что она, выслуживается или от всей души хлопочет?»

Оказавшись в землянке, в которой размещался взвод старшины Наседкина, Тарасенко взяла власть в свои руки.

— Сядьте все на нары, разуйтесь и покажите мне ноги,— сказала она бойцам.

Показывать голые, натруженные ходьбой ноги такой хорошенькой девушке ни у кого не было охоты. Тарасенко заметила, что бойцы не торопятся, и повторила свое приказание более настойчивым тоном.

Шлёнкин оказался крайним. Тарасенко подошла к нему, остановилась, ожидая: Терентий скорчил лицо, посмотрел сокрушенно на врача и нехотя начал снимать ботинки.

В это время в землянку вошли Буткин и Тихонов. Они встали в уголок, под полочкой, на которой жарко горела керосиновая лампа, и молча наблюдали за девушкой.

Закончив осмотр ног, она распорядилась:

— Теперь, товарищи бойцы, вы снимете верхнюю одежду и ляжете спать. Укрываться будете одеялами и шинелями. Лучше, если ляжете теснее, так скорее согреетесь.

Бойцы опять в нерешительности медлили. Непривычно было раздеваться в присутствии женщины. Но Тарасенко словно не замечала их смущения. Она прошлась по землянке, поторапливая бойцов, показала им, как нужно укрываться шинелью, чтобы было теплее, и, дав некоторые наказы санитару, остающемуся во взводе на ночь, обратилась к Тихонову:

— Можно идти, товарищ капитан, в соседнюю землянку.

Когда они трое вышли из землянки, Тихонов с усмешкой проговорил:

— А вы, товарищ военврач, умело обращаетесь с бойцами. По-командирски!

Тарасенко засмеялась, сказала:

— Ну, еще бы не уметь. Я ведь старый солдат, на финской войне врачом лыжного батальона была.

Буткин дернул Тихонова за руку, что означало: «Ну вот, а ты сомневался».

## 22

Январь тысяча девятьсот сорок второго года начался в Забайкалье свирепыми морозами. Сопки, окружавшие падь Ченчальтюй, потонули в белом, как молоко, тумане. Туман до того был густой, такой плотной, непроницаемой пеленой закрывал и землю и небо, что люди двигались ощупью, и если не натыкались друг на друга, то только потому, что по скрипу снега под ногами угадывали, где, в каком направлении идет встречный.

Земля тут была жесткая, каменистая, исчерченная извилистыми, как жилы, хребтами; рек и озер поблизости не было, но, несмотря на это, ночами, перед рассветом, когда мороз достигал особенной ярости, земля трескалась, и гул, похожий на выстрел тяжелого орудия, разносился по обширным безлюдным просторам.

«Все тут, в этом Забайкалье, не в меру. В других краях мороз как мороз, туман как туман, а тут сплошное наваждение»,— повторяли в батальоне фразу, пущенную в обиход политруком третьей роты Василием Петуховым.

Но как ни свирепы были морозы, как ни неподвижны были туманы, все равно батальон капитана Тихонова жил кипучей жизнью.

По вечерам, сокрытые первым сумраком, уходили к границе дозоры и наблюдатели. По сопкам вокруг пади Ченчальтюй сменялись часовые. В холодном нетопленом клубе комиссар батальона Петр Петрович Буткин, сопровождаемый ни на минуту не прекращающимся кашлем бойцов, читал лекции по истории партии.

Переспав ночь в землянках, с потолков которых свисали, как люстры, причудливые сосульки, бойцы поднимались, проделывали утреннюю физзарядку, умывались, завтракали и усаживались заниматься. Пока на дворе властвовал пятидесятиградусный мороз, бойцы изучали воинские уставы, тренировались в разборке и сборке винтовок, автоматов, гранат, минометов.

Запас топлива катастрофически сокращался. Тихонов приказал не топить склады, клуб, уменьшил на три четверти выдачу дров командирам, но и этих мер оказалось недостаточно. Скрепя сердце комбат отдал новый приказ: землянки бойцов топить один раз в неделю, командирам дровяной паек еще раз сократить наполовину. Но никакие сокращения не могли снять нарастающей угрозы. В один из дней из-за отсутствия топлива могла загаснуть кухня, и тогда жизнь батальона стала бы невыносимой.

Тихонов и Буткин ежедневно строчили тревожные донесения в вышестоящий штаб, ездили в политотдел, посетили генерала Разина. Всюду их выслушивали с вниманием и сочувствием, но, обещая помочь, тут же, как бы мимоходом, напоминали: вы, дескать, не одни у народа, потерпите, не думайте, что вы в отчаянном положении.

Тихонов и Буткин возвращались в батальон, собирали бойцов, убежденно говорили:

— Трудности мы переживаем немалые, но подумайте, каково нашим братьям на фронте? Мы и десятой доли не знаем того, что приходится переносить фронтовикам.

И эти слова глубоко западали в душу бойцов. Чем тяжелее становилась жизнь, тем больше закалялось терпение людей, тем больше вырастала их приспособляемость к обстоятельствам и условиям службы.

— Нас легко не возьмешь! Хныкать мы не будем! — вслед за комиссаром Буткиным везде и всюду повторяли бойцы-агитаторы.

И как ни сурова была жизнь, именно в эти дни военврач Екатерина Тарасенко пережила немало трогательных минут, запомнившихся ей на всю жизнь.

Как-то раз сидела она в своей землянке. В маленькое оконце, разместившееся почти под самым потолком, как и у большинства землянок, вползали зимние сумерки. Тарасенко сидела в шинели, в шапке — в землянке было холодно. Едва смерклось, она зажгла лампу, задернула оконце светомаскировочной шторкой. От лампы потянуло теплом. Запахло керосиновой гарью. Девушка вытянула руки, слегка, так, чтоб не обжечь ладоней. Согревая прихваченные морозом пальцы, наслаждалась ручейками тепла, растекавшимися по телу. «Как бы хорошо сейчас оказаться в теплой комнате, с электрическим освещением, чистой постелью... А ведь все это было... И почему только человек не ценит по-настоящему, когда он имеет все это?..» Тарасенко перебирала в памяти своих друзей, вспоминала отца, подсчитывала, сколько ей писем нужно написать в самое ближайшее время.

У землянки послышался хруст снега. Кто-то подошел к двери, но открывать ее не решался. Девушка насторожилась, подняла голову, выжидала. Хруст снега послышался вновь, потом негромко пальцем постучали в дверь.

— Войдите, пожалуйста!

Вошел Синеоков, командир второй роты. Он вошел как-то боком, смущенный, и несколько секунд стоял, не находя слов. При виде его у Екатерины сжалось сердце. «Начинается,— подумала она.— Пришел, по-видимому, сказать о тоске своего сердца. Надо опередить его и рассеять всякие надежды...»

— Извините, товарищ военврач, что я вторгся к вам в неположенное время,— заикаясь, проговорил Синеоков, продолжая стоять боком и что-то скрывая под полой шинели.

— Ничего, ничего, проходите,— не очень любезно, с подчеркнутым равнодушием проговорила Тарасенко.

— Видите ли... Я, собственно, мимоходом. Дело в том, что у вас в землянке довольно прохладно,— туманно и витиевато продолжал изъясняться Синеоков.

«Скажу-ка я ему сразу и без всяких обиняков: любезный товарищ, не терзайте свое сердце попусту, я влюблена в другого, он остался работать в Казани, в факультетских клиниках, а я уехала на восток. Но ничто — ни расстояние, ни время — не разлучит нас. Поймите это и успокойтесь».

— Хм, прохладно,— кашлянув, повторил Синеоков,—

а нам как раз сегодня на роту топливо отпустили, ну, вот я и принес вам немного из своего пайка,— с большим трудом закончил Синеоков, вытянув из-под полы гладкое березовое полено.

— Что вы, товарищ лейтенант! Я ведь и сама получаю паек! — воскликнула Екатерина и про себя подумала: «Что он, по-товарищески это делает или решил таким способом покорить мое сердце?» — Напрасно вы беспокоитесь, товарищ лейтенант. Мы же с вами живем на глазах целого батальона. Люди могут расценить это превратно,— желая проверить свои опасения, с хитрецой проговорила Тарасенко.

— Ну что вы говорите?! Бойцы моей роты сегодня несколько раз ко мне обращались: «Товарищ лейтенант, отдайте наши дрова военврачу. Нас ведь все-таки много, а она одна»,— сразу осмелев, неестественно громко заговорил Синеоков.

Выложить все свои доказательства он не успел. С улицы донесся скрип снега, и потом раздался легкий стук в дверь. Тарасенко крикнула:

— Войдите, пожалуйста!

Когда дверь открылась и ворвавшиеся в землянку густые клубы белого пара покатились по земляному полу к столику, Тарасенко и Синеоков увидели политрука Батракова, уполномоченного особого отдела. Он вошел, как и Синеоков, боком и что-то придерживал под полой шинели. Должно быть, оттого, что он не ожидал встретить здесь Синеокова, угрюмые, черные, как агат, глаза его сверкнули с изумлением и погасли под длинными ресницами. Однако, заметив в руке Синеокова березовое полено, Батраков быстро поборол смущение и, усмехнувшись, проговорил:

— Не отказывайтесь, товарищ военврач. Вы у нас одна, и мы это от всего сердца...— Батраков вытащил из-под полы шинели сосновый чурачок и положил его возле печки.

— Нет, право же, товарищи, так нельзя. Я такой же командир, как и вы, и мне неудобно быть в привилегированном положении. Я прошу забрать ваши дрова и больше этого не повторять,— проговорила Тарасенко сердито.

Синеоков и Батраков сконфузились, переглянулись и, желая во что бы то ни стало убедить девушку, заговорили в один голос. В это время в дверь постучали, и в землян-

ку вошли посланцы третьей роты: Шлёнкин, Соколков и Подкорытов. Соколков держал кучку щепок. В руках Шлёнкина было два полена, а Подкорытов придерживал локтем свиток бересты.

— Товарищ военврач, разрешите обратиться,— прикладывая руку к шапке, проговорил Подкорытов.

Но Тарасенко словно не слышала этих официальных слов. Взглянув на вошедших, она поняла то, в чем еще минуту назад сомневалась. Ее приняли в батальоне, как родную, ее полюбили здесь той бескорыстной и по-братски чистой любовью, которая скрашивает все трудности и невзгоды жизни и делает людей преданными друг другу. И она не посмела больше отказываться.

— Товарищи, милые, но почему вы о себе-то не беспокоитесь? Вам же холодно не меньше, чем мне,— растроганно проговорила Тарасенко, опуская повлажневшие глаза.

— Вы уж примите, товарищ военврач. Бойцы обидятся. Вы вон как о нас в ту ночь хлопотали,— сказал Шлёнкин и бережно положил дрова возле печки.

Соколков и Подкорытов выложили свои приношения, потом откозыряли и вышли вслед за Шлёнкиным. Синеоков и Батраков тоже попрощались с Тарасенко и поспешили за бойцами.

Через пятидневку топливо в батальоне кончилось. На кухне дров осталось так мало, что Тихонов приказал снабжать батальон горячей пищей вместо трех — один раз в сутки.

А морозы не прекращались. Степь лежала в тумане. Трескалась земля. Внутренние стены землянок покрылись серебрящимся покрывалом снега. Люди согревались только по ночам. Они спали, прижавшись друг к другу, укрываясь шинелями, плащ-палатками, матрацовками, набитыми сеном.

Но тяжелое положение батальона не могло продолжаться бесконечно. В один из самых морозных дней, пробивая туман ярким светом фар, в пади Ченчальтюй появилась легковушка Разина. Генерала не могли удержать ни морозы, ни метели, и он колесил по пограничным гарнизонам в любое время.

— Ну, как, Тихонов? Живы? — спросил генерал, войдя в штабную землянку и здороваясь за руку с капитаном и Буткиным.— Нате-ка, покурите с горя сладкого,—

присаживаясь на табурет и вытаскивая из кармана овчинной борчатки кисет с душистым табаком, сказал Разин.

— Вот, товарищ генерал, подсчитываем последние ресурсы. На кухне осталось двадцать два полена и три ведра угля. Больше трех дней никак не протянуть. Пытались сегодня по степи собирать бурьян, но результаты более чем неутешительные. Силами двух рот собрано три мешка травы,— доложил Тихонов.

— И за это молодцы! Молодцы, что не опускаете рук, ищете, беспокоитесь. А только кончились ваши мытарства. Сегодня на разъезд ночью придут два вагона березового долготья.

— Замечательно! — вырвалось у Буткина, и он весело посмотрел в просветлевшее лицо капитана.

— Надо эти дрова немедленно выгрузить, чтоб не задерживать вагоны. Это во-первых. Во-вторых, не исключена возможность выхода батальона в траншеи. Вот, почитай-ка! — Генерал вытащил из своей полевой сумки листик тонкой папиросной бумаги, испещренной синей машинописью, и подал его Буткину, сидевшему к нему ближе. Это была последняя разведсводка с границы.

## 23

Ночью третья рота в полном составе работала на разъезде. Березовое долготьё было отличное: ровное, чистое, словно отборное. Люди до того стосковались по огню, что, вытащив из вагона несколько сутунков, распилили их на чурбаны и запалили костер. Тихонов, привыкший за последние дни подсчитывать каждое полешко и каждый уголек, хотел было прикрикнуть на бойцов, затеявших это дело, но, увидев веселое, пляшущее пламя, подошел к костру и, вытянув руки, долго грел их.

Работали дружно, споро. Первый вагон разгрузили почти играючи. Прокофий Подкорытов мечтал вслух:

— Первым делом, ребята, как попадем в гарнизон, чаю горячего повару закажем, чтоб покрепче заварил, потом щей горячих наедимся, да так, чтоб пот прохватил...

На рассвете Тихонов приказал Егорову нагрузить две подводы и отправить их в падь Ченчальтюй. Там ждали топливо с часу на час. Когда возы были увязаны, Тихонов осмотрел сани — не перегружено ли — и велел ездовым в гарнизоне не задерживаться. Но дорог в падь Чен-

чальтюй ни зимой, ни летом не было, и ездовые, понадеявшиеся на память лошадей, пришедших на разъезд под управлением самого Тихонова, заблудились в степи в непроглядном тумане.

Часов в одиннадцать дня была закончена разгрузка второго вагона. Подводы же все еще не возвращались. Бойцы окружили костер, курили, слушали разговор командиров. Егоров предлагал капитану не ждать подвод, а вывести весь батальон в степь, построить его цепочкой и все березовое долготьё перебросить от разъезда в падь Ченчальтюй эстафетой — от бойца к бойцу. Пока остальные роты находились в гарнизоне, зачин должна была сделать третья рота.

Тихонов слушал Егорова молча, поглядывая на большой ярус березовых сутунков, про себя раздумывал: «А, пожалуй, дельное Егоров говорит: если возить дрова на двух лошадях, в неделю с этим не управишься при таком тумане. Да, кроме того, кони нужны на другое дело. Продовольствие и фураж надо обязательно с базы вывезти. Только бы туман чуть-чуть отпустил...»

Егоров видел, что капитан о чем-то раздумывает, не решается высказать свое мнение. Но он был убежден в деле, которое предлагал, и потому заговорил опять о своем:

— Если каждая рота выставит по сто человек, то уже первой очередью эстафеты мы захватим огромное расстояние. Каждый боец при этом будет нести сутунок всего лишь пятьдесят метров. Это не истощит его силы и позволит перекликаться с соседями, чтоб не сбиваться в тумане с направления. А теперь прикинем, сколько потребуется времени для перевозки на лошадях...—И Егоров пустился в пространные арифметические подсчеты.

Тихонов выслушал его до конца, посмотрел пристально на Егорова и, усмехнувшись, сказал:

— А дотошный ты, Филипп Иваныч, мужик. Не будь ты хорошим строевым командиром, тебя надо было бы послать куда-нибудь интендантом, гляди, ты разогнал бы кое-кому дрему...

Бойцы, сидевшие вместе с командирами и слышавшие все доказательства Егорова, принялись обсуждать его предложение. Всем им хотелось скорее отведать горячей пищи, выспаться в теплых землянках, посидеть в клубе без шинелей, вымыться в бане. Они принялись горячо за-

щищать предложение Егорова. Тихонов наблюдал за ними, но пока молчал, поглядывая в степь и прислушиваясь, не скрипит ли где под полозьями снег.

Но подводы не вернулись и к полудню. Стало ясно, что они кружат где-то по степи. Грузовая машина стояла без горючего, и брать ее в расчет не приходилось. Единственный способ, который оставался для переброски топлива в гарнизон, — это способ, предложенный Егоровым.

— Ну вот что, Егоров,— сказал Тихонов.— Выстраивай роту цепью да выдели мне Подкорытова, пусть несет мое приказание Власову, чтоб остальные роты проложили встречную нам эстафету.

Подкорытов был уже наготове, тотчас подлетел к капитану, козырнул, замер по стойке «смирно». Он знал, почему капитан избрал своим посыльным его, Подкорытова. Он славился в роте как лучший ходок, не знающий устали. В таком тумане только он один мог пройти в гарнизон самым кратчайшим путем, не плутая между сопок.

Подкорытов слушал наказы капитана. Егоров тем временем объяснил роте новое задание. Командиры взводов тотчас принялись расставлять бойцов по степи.

— Да, Наседкин,— обратился Егоров к одному из командиров взводов,— учти, что темп работы зависит от вашего взвода. Вы поставлены в голове эстафеты. На первый этап поставьте самого проворного бойца.

— Соколкова, товарищ лейтенант, придется,— сказал Наседкин.

— Соколкова? Лучше давай кого-нибудь покрепче по комплекции. А если Шлёнкина? — прищурив глаза, проговорил Егоров.

— «Систему»? Этот силен, да уж очень неповоротлив, будет копаться с каждым бревёшком по полчаса,— засмеялся Наседкин.

— А ты его позови сюда, я с ним сам потолкую.

— Шлёнкин, ко мне! — крикнул командир взвода.

Его возглас покатился в морозном тумане от бойца к бойцу:

— Шлёнкина к командиру взвода!

Вскоре к ярусу березового долготья, возле которого стояли Егоров и Наседкин, подбежал запыхавшийся Шлёнкин. Он вынырнул из молочно-белесого тумана, как из воды.

— Товарищ лейтенант, разрешите обратиться к старшине,— приложив руку к шапке, проговорил Шлёнкин.

— Я как раз хочу поговорить с вами. Садитесь,— сказал Егоров и передвинулся с одного места на другое.— Дело вот какое, Шлёнкин. Решили мы с комвзводом поставить вас во главе эстафеты, на первом участке. Но уж поработать придется тут на совесть. От того, как быстро вы будете подавать бревна своему соседу, зависит быстрота движения всей эстафеты, а значит, и честь роты. Ясно?

— Все ясно, товарищ лейтенант,— вскочив, откозырял Шлёнкин.

— Ну, в добрый час! Надеемся...

— Да уж постараюсь, пусть только там в степи управляются,— расплывшись в широкой улыбке, проговорил Шлёнкин.

— Рота, приготовиться к работе! — прокричал Егоров. Шлёнкин передал приказ комроты соседу, а тот в свою очередь переслал его дальше.

Минут через десять от бойца, замыкающего цепь в степи, пришло сообщение, что к работе все готовы. Шлёнкин взвалил на плечи березовый сутунок и понес его сквозь туман очередному бойцу.

Егоров дождался возвращения Шлёнкина и направился к костру доложить капитану Тихонову, что эстафета двинулась в путь.

Когда через полчаса Егоров и Тихонов подошли к ярусу посмотреть, как идет работа, они увидели Шлёнкина в облаке пара. Он проворно, не обращая ни малейшего внимания на подошедших, схватил сутунок, встряхнул его на плече и тут же скрылся в тумане.

— Кто это тут мечется? — спросил Тихонов, не узнав Шлёнкина.

Егоров объяснил. Тихонов посмотрел в туман, как бы стараясь увидеть в нем Шлёнкина, и с теплотой в голосе сказал:

— Вот тебе и «система»! А ведь поначалу в писаря просился.

— Помню этот день, товарищ капитан, помню!— проговорил Егоров, припоминая не только Шлёнкина, но и самого себя.

## 24

Морозы кончились вскоре после переброски топлива, но в тепле батальон прожил недолго. Однажды утром сидевшие в штабной землянке Тихонов и Буткин услышали позывной писк полевого телефона. Тихонов приложил трубку к уху, назвал свой опознавательный номер. Докладывали с наблюдательного пункта:

— Над нами самолет. Идет из Маньчжурии в глубь нашей территории.

Тихонов крикнул дежурного по штабу, приказал ему объявить боевую тревогу. Дежурный бросился из землянки к висевшему на столбе куску рельса, ударил по нему железным курком от телеги.

Буткин и Тихонов выбежали вслед за ним, не удаляясь от землянки, остановились, прислушиваясь к протяжному гулу мотора. Самолет шел на такой высоте, что его трудно было сразу увидеть. Буткин и Тихонов стояли, закинув головы, осматривали небо. Увидеть опознавательные знаки им не удалось, но то, что самолет принадлежал японцам, было ясно и без того. Самолет покружился над сопками минут десять — пятнадцать, по-прежнему не рискуя снижаться, и лег на обратный курс.

— Это разведчик. Завтра он появится и опять пройдет несколько ниже. Знаю я ухватки японцев еще по Халхин-Голу,— сказал Тихонов.

Но в этот день произошло другое серьезное событие. Полевой караул, как обычно высланный из батальона накануне, вернулся с важным сообщением. Патрулируя, бойцы увидели на японской стороне фанерный лист, исписанный русскими буквами. Буквы были написаны так крупно, что их можно было прочитать без бинокля. «Сегодня наши доблестные императорские войска вошли в Сингапур». Слово «Сингапур» было написано по старой орфографии, с твердым знаком на конце.

После того как бойцы доложили об этом факте и ушли из штаба, Тихонов сказал Буткину, писавшему очередное донесение в политотдел:

— Кружится у японцев голова от легких успехов. Сингапур они, может быть, еще и не взяли, но возьмут. Чего же его не взять при таком сопротивлении. Теперь японцы вообразят, что и мы такие же вояки, как англичане и американцы, и, чего доброго, кинутся на нас.

— Это факт! По-моему, мы никогда еще не были так близки на востоке к войне, как теперь,— отозвался Буткин и, помолчав немного, откладывая ручку в сторону, сказал: — Вчера начальник политотдела показал мне несколько записей радиоперехвата из Токио. Там совершенно откровенно призывают не терять времени и напасть на СССР.

Они не успели закончить свой разговор, как в землянку вошел нарочный из вышестоящего штаба с пакетом под черными сургучными печатями.

Тихонов приказал увести нарочного в столовую и, когда тот в сопровождении дежурного вышел, вскрыл пакет. Штаб предписывал: к исходу следующих суток батальону выдвинуться к границе, в район его обороны, и привести в готовность все боевые средства. Далее указывались способы связи с соседями и местонахождение оперативной группы штаба.

— Всё они расписали как по маслу, а вот то, что у меня бойцы сидят без полушубков и валенок, до этого им дела нет,— сердито проговорил Тихонов.

Он молча походил по землянке. Остановившись возле Буткина, сказал:

— Поезжай, Петр Петрович, к генералу Разину, натрави его на интендантов, а я займусь подготовкой к выходу в траншеи.

Но Тихонов горячился напрасно и интендантов поносил совершенно зря. Буткин не успел еще выехать, как в падь Ченчальтюй прибыло четыре грузовика с полушубками и валенками. Все это было новенькое, не обдутое еще ветрами, и остро пахло фабричными кислотами.

В течение суток батальон одевался, обувался, приводил в порядок оружие. Теперь, когда все бойцы и командиры были обмундированы по-фронтовому, оружие вновь осмотрено и вычищено, ни у кого и мысли не было, что война не начнется и на этот раз. Все чувствовали себя приподнято и были преисполнены решимости смело встретить новые испытания.

Переход к границе совершили под покровом темноты. Траншеи были засыпаны снегом, и их пришлось прочищать лопатами. Одновременно принялись сооружать обогревательные пункты. Это были обыкновенные брезентовые палатки, натянутые в складках сопок. Сверху на палатки бойцы набросали колючей степной травы, а снизу

соорудили завалинки из плитняка, кучами лежавшего по сопкам, и пластов спрессовавшегося на ветру снега.

Внутри палаток были поставлены железные печки. Отдыхали бойцы небольшими группами, по очереди, прямо на земле, застланной сеном.

Иногда в палатках становилось так тепло, что бойцы сбрасывали с себя полушубки и отогревались по-домашнему.

Рота Егорова занимала свой прежний участок. По равнине, расстилавшейся к югу от маньчжурского городка, даже в самую тихую погоду то и дело проносились поднятые вихрем столбы снега. Маньчжурский городок чернел и дымился, но оттого, что ни на улицах городка, ни возле него не видно было никакого движения, он казался покинутым.

Обжились на новом месте быстро. В траншеях из камней соорудили сиденья. На второй день по взводам начались регулярные занятия: читали сводки Информбюро, уставы, проверяли знание оружия.

Егоров прошелся по всем взводам и остался доволен. Вспомнился летний выход батальона на границу. Тогда люди были не подготовлены, взводы и роты не сколочены, не хватало командиров. Вспомнил Егоров кое-что и о себе. «Суетился я тогда больше всех, хватался то за лом, то за лопату, с командного пункта во взвод убежал... Что у нас тогда было? Готовность бороться и умереть и оружие, которое мы все плохо знали... И все-таки мы были силой. Наткнись тогда японцы на нас, мы могли одержать над ними верх. Мы окрылены были желанием защищать честь Родины. Разве не это же чувство придает силы нашим воинам там, на западе? Партизаны или народное ополчение тоже ведь не проходили военных академий, а сколько они дали жестоких боев немцам?!. Да, другие стали мы, и я совсем другой стал, а когда этот перелом случился, где он и на чем наметился — трудно теперь установить...»

С этими мыслями Егоров подошел к обогревательному пункту, остановился, докуривая глубокими затяжками папиросу, хотел пролезть в палатку, но услышал басок Шлёнкина и решил послушать, о чем он говорит.

— Я помню, когда нас капитан привел в падь Ченчальтюй, посмотрел я на сопки и подумал: «Нет, больше месяца мне не прожить тут, с ума сойду». А теперь иногда раздумаюсь, представлю, как мы когда-нибудь уезжать

будем, и чую — защемит сердце. Суровая сторонка, а привыкли, вроде лучше нашей пади и мест на земле нет. Еще тосковать потом будешь,— засмеялся Шлёнкин.

— Ты к этим местам через труд приобщился, вот в чем загвоздка,— послышался голос Викториана Соколкова.— Если б ты не перерыл здесь столько земли, не пролил столько пота, не встретил тут новых товарищей, не знал, ради чего ты живешь тут, ты давно бы сбежал отсюда. Что бы тебя тут держало?

— Это верно. Здесь тем и держишься, что другие держатся,— согласился Шлёнкин.

— Одним словом, земля родная,— громко зевая, проговорил Соловей.

«И они о том же, о чем и я»,— подумал Егоров и пролез в узкую щель в палатку.

Увидев лейтенанта, бойцы хотели подняться, но Егоров махнул рукой:

— Не нужно. Отдыхайте.

Он лег на сено рядом с Соколковым, закинул руки. Ночь он не спал, сидел на наблюдательном пункте, проверял внешние посты на подступах к роте, потом был у Тихонова на совещании командиров.

Егоров почти уже уснул, когда раздался голос сержанта Соловья:

— Товарищ лейтенант, разрешите обратиться?

Егоров открыл глаза, поднял голову, ждал.

— Я вас, кажется, разбудил, извините, товарищ лейтенант,— сказал Соловей.— Но, видите ли, дело такое. Сердечное, так сказать. Я еще в гарнизоне хотел поговорить с вами, да вы все заняты были.— Сержант волновался и, против обыкновения, говорил заикаясь и путаясь.— В партию я надумал вступить. Хочется в бой с японцами пойти коммунистом. Вы мне рекомендацию дадите?

Егоров поддержал намерение сержанта, но объяснил, что выполнить его просьбу не может. Во-первых, у него не хватает еще партстажа, а во-вторых, он знает его меньше одного года, что не отвечает требованиям устава партии.

Соловей огорчился, а Егоров, заметив это, проговорил:

— А вы не унывайте, Соловей. У нас в батальоне немало коммунистов с большим стажем: наш политрук Петухов, комбат Тихонов, комиссар Буткин, старшина Наседкин, так что рекомендующих найти можно. Что касает-

ся срока пребывания в батальоне, то время тоже работает на вас. Год пролетит незаметно. Будете так же хорошо служить, дам вам служебный отзыв, достойный вступающего в партию...

Соловей посмотрел на Соколкова, на Шлёнкина, потом перевел взгляд на командира роты.

— Благодарю вас, товарищ лейтенант. Извините, что побеспокоил.

Егоров опустил голову, но опять приподнялся, спросил:

— Ну а вы, Соколков, не собираетесь вступать в партию?

— Нет пока, товарищ лейтенант, подзакалиться еще надо.

Шлёнкин приподнялся на локте, выжидал, спросит лейтенант о том же у него или не спросит. Лейтенант не спросил, но, взглянув на него, сказал:

— В партию никогда не поздно вступить. Важно, чтоб человек душой созрел, чтоб сами дела его привели в партию.

Шлёнкин понял, что лейтенант сказал это для него. «Значит, он считает, что я еще не созрел»,— подумал Шлёнкин, и ему стало от этой мысли горько. Он повернулся на другой бок, лежал, размышляя: «Ну хоть бы спросил лейтенант, и то мне легче было бы».

Шлёнкин так и уснул с этими мыслями. Когда он проснулся, стояла уже ночь. Ни Егорова, ни сержанта, ни Соколкова в палатке не было. На их местах спали другие бойцы. Ветер свистел над палаткой, поскрипывал снег под ногами часового, охранявшего обогревательный пункт.

Шлёнкин хотел подняться, но посмотрел на часы со светящимся циферблатом и решил полежать еще. Спать уже не хотелось, и сами собой на ум пришли прежние мысли.

«Ну хоть бы спросил лейтенант. Я бы ведь напрашиваться не стал. Уж коли Соколков не созрел, а я и подавно. А все-таки зачем же так?» Потом он вспомнил себя довоенным. В памяти отчетливо представилась комната, обставленная старой, уже изрядно затасканной мебелью, вечеринки с участием начальства, мир и покой, царившие тогда у них в конторе, размещавшейся на тихой улочке, в уютном деревянном доме, построенном, должно быть, каким-то чиновником среднего достатка. Давно ли от этих

воспоминаний мучительно тоскливо становилось на душе? Теперь эти воспоминания не трогали сердце. Нет, не так он жил, и хорошо, что та жизнь кончилась. И почему раньше он не встретил этого Витю Соколкова, ненасытного и жадного до жизни? Разъездной ревизор... Ему это казалось вершиной. Он упивался своей должностью, и ничто, кроме благополучия, не занимало его. Соколков... Немало он над ним, над Терентием Шлёнкиным, потешался, немало резких и горьких слов он высказал и... спасибо ему, спасибо. Шлёнкин представил себя после войны. Как знать, может быть, он и переживет эту войну, уцелеет, пройдя через все испытания, которые жизнь готовит ему. И жить тогда он будет по-другому, он еще не знает в точности — как, но совсем иначе. Возможно, он пойдет учиться, он ведь совсем еще молод, а скорее всего, он будет работать там же, в «системе», он же любит свою работу, но только к жизни он подойдет с новой меркой...

Убаюканный своими размышлениями, он лежал и час и другой...

— Красноармеец Шлёнкин, на выход! — раздался за палаткой приглушенный голос дневального.

— Есть, Шлёнкин на выход,— негромко, чтобы не разбудить товарищей, ответил Терентий и поспешно вскочил.

«Быстро, черт возьми, время пролетело! Давно ли смотрел на часы, было около двух, а сейчас к четырем приближается... Соколков теперь уже ждет меня»,— думал Шлёнкин, затягиваясь сверх полушубка ремнем. Через пять минут Шлёнкин в сопровождении разводящего шагал по восточному склону сопки к ее подножию. Здесь, под прикрытием огромного валуна, стояли часовые.

Соколков резким возгласом остановил разводящего, которым был в эту ночь сержант Соловей, и Шлёнкина. Узнав по голосу сержанта, он разрешил им приблизиться к посту. Смена караула произошла четко и быстро.

— Подними воротник, Терёша. Ветерок ледяной,— проговорил Соколков, подергивая плечами.

Он не уходил, ждал, когда Соловей направится вместе с ним. Соловей почувствовал его нетерпение.

— Иди, Соколков, иди, я тебя догоню,— приказал он и, видя нерешительность Соколкова, пояснил: — Шлёнкин у нас на этом посту первый раз стоит, надо показать ему все приметы местности.

Соколков постоял еще несколько секунд, переминаясь с ноги на ногу, и не спеша побрел вдоль степи.

— Итак, Шлёнкин, примечай,— донесся до Соколкова голос сержанта.

Вскоре Соколков подошел к глубокой складке, походившей на противотанковый ров, и, войдя в нее у самого основания сопки, начал по тропинке, протоптанной уже часовыми и разводящими, подниматься в гору. Он шел все так же медленно, несколько раз останавливался, прислушивался, не догоняет ли его Соловей. Ночь стояла сумрачная. Небо было низкое, без звезд и месяца. Ветер дул короткими порывами, проносясь по сопке с диким, заунывным посвистом. В такую ночь хорошо бы сидеть в теплой, светлой квартире, читать какой-нибудь приключенческий роман и пить горячий, крепкий чай. Но в мире шла кровопролитная война, и миллионы людей поступали не так, как им хотелось...

Соколков вошел уже на вершину сопки, а сержанта все не было. «И где он там застрял? Жди его тут на ветру. А один придешь, карнач будет ругаться, скажет, почему не вместе ходите. А я, что ль, начальник? Не пойти ли назад?..»

— А, черт! — выругался Соколков и принялся подпрыгивать, размахивая руками и постукивая ими одной о другую.

Соколков проплясал так с полминуты. Когда стих сильный порыв ветра, обдавший его снегом, возле него выросла фигура человека.

— Соколков? Почему один? Где разводящий? — послышался голос политрука Батракова. Он стоял, как бы приготовившись для прыжка, и Соколков в сумраке увидел, что большие, всегда угрюмые глаза Батракова блестят необыкновенным блеском.

— Идет он где-то, товарищ политрук,— с виноватой ноткой в голосе сказал Соколков.— Шлёнкина инструктировал.

Батраков прыгнул, и Соколкову показалось, что он не побежал, а стремглав покатился с вершины сопки. Настороженно и поспешно оглядевшись, Соколков подумал: «Что он? Что это значит?» Еще ничего не решив, Соколков понял, что Батраков проделал все это не зря, и ему надо не стоять тут в раздумье, а скорее бежать вслед за политруком.

Он снял с плеча винтовку, встряхнул ее на руках и побежал, с большим трудом удерживаясь, чтоб не упасть и не разбиться о камни.

А там, на посту возле валуна, в эти короткие минуты произошло следующее.

— Итак, Шлёнкин, примечай,— проговорил Соловей и начал рукой указывать на кустики степного чертополоха, черневшие в трех-четырех местах на поляне, убегавшей к самой черте границы.— Все заметил? Ясно? — спросил Соловей.

— Все ясно, товарищ сержант,— ответил Шлёнкин, наполняясь каким-то особенно торжественным чувством готовности нести свой ответственный пост.

В это время Соколков скрылся из глаз, войдя в глубокую складку сопки. Соловей отдалился от Шлёнкина на один шаг, строго спросил:

— А что ты будешь делать, Шлёнкин, если кто-нибудь из бойцов батальона вздумает уйти за границу?

— Таких у нас не найдется! — воскликнул Шлёнкин и, помедлив, твердо добавил: — А если найдется все же, я такому негодяю пулю в башку всажу...

Шлёнкин стоял с винтовкой наперевес. Сказав эти слова, он крепче прижал ложе, находившееся под мышкой. Две-три секунды было тихо. Один порыв ветра со свистом унесся в степь, а другой только еще приближался. Но вот ветер рванулся, снег облаком взлетел ввысь.

Соловей с ножом кинулся на Шлёнкина сзади. Шлёнкин втянул шею в плечи. Удар пришелся по подбородку. Распарывая полушубок, нож скользнул по кости и вонзился в бок.

Шлёнкин почувствовал острую боль. Он хотел закричать, но сил не было. Напрягая все свои мускулы, он сжимал руку врага с ножом, обращенным к его горлу. Отбросив винтовку в снег, Шлёнкин второй рукой ударил Соловья в переносицу, потом встряхнул его, перебрасывая через голову. Соловей зычно ударился о землю, крякнул, захрипел от злости и напряжения. Падая, он увлек за собой Шлёнкина. Теперь они катались по снегу. Несколько раз нож врага настолько приближался к горлу Шлёнкина, что смерть от него была на расстоянии одной-двух секунд. Но всякий раз Шлёнкин отводил руку с ножом.

Кровь, должно быть, хлестала из раны ручьем. Бок вымок в крови, и боль становилась с каждым мгновением

острее и острее. Шлёнкин понял, что спасение ему могут принести только товарищи. Отсюда, от валуна, в траншеи тянулся сигнальный провод. Нужно было как-то извернуться и хотя бы ногой задеть за этот провод. Шлёнкин вытягивал ноги, стараясь поближе подкатиться к месту, где лежал провод. Но Соловей понял замысел Шлёнкина. Изо всех сил тянул он Шлёнкина подальше от валуна. Один раз Шлёнкину удалось все-таки задеть провод носком валенка, но рывок был слабый, и там, в траншее, могли не понять, что он взывает о помощи...

«Надо ударить его камнем по голове»,— промелькнуло в мыслях Шлёнкина, и он начал одной рукой шарить возле себя в надежде наткнуться на камень. Соловей тотчас почувствовал, что сопротивление ослабло, и подмял Шлёнкина под себя. В следующее мгновение Соловей вырвал у Шлёнкина свою руку с ножом. Это был серьезный выигрыш. Но и Шлёнкин теперь был вооружен. Он держал в руке тяжелый, с острыми краями камень. Один удар таким камнем в голову мог решить исход борьбы.

Однако ни Соловей, ни Шлёнкин не успели вступить в решающую схватку. Подбежал Батраков. Рукояткой нагана он ударил Соловья по руке с ножом, схватил его за воротник полушубка, направил в лицо дуло револьвера.

— Поручик Квятковский, встаньте, ваш номер не прошел! — с торжеством в голосе, отчеканивая каждое слово, проговорил Батраков.

Шлёнкин все еще держал в руке тяжелый камень. Рядом с политруком стоял Соколков. С сопки бежали бойцы и командиры. Шлёнкин услышал встревоженный голос Тарасенко:

— Вы ранены?

Егоров схватил Шлёнкина за руку, крепко сжал ее, шепча какие-то неясные, но хорошие, идущие из глубины души слова...

...Два месяца прожил батальон Тихонова в траншеях на границе, а когда вернулся в падь Ченчальтюй, началось все сызнова: учения, походы, караулы и тревоги... тревоги...



Часть вторая

# ОРЛЫ НАД ХИНГАНОМ

## 1

В те июньские дни тысяча девятьсот сорок пятого года небо над степью было закрыто мутно-желтым шатром пыли. День и ночь гудела и содрогалась земля от грохота танковых колонн, от рокота самолетных моторов, от рёва автомобилей, от топота лошадей.

С наступлением сумерек над степью поднималось яркое зарево, как от гигантского пожара. Это сливались в единое море света огни фар, костры биваков, лучи прожекторных установок противовоздушной обороны.

Живой, бушующий поток людей, машин, лошадей поглощали десятки и сотни эшелонов, прибывавших на неведомые степные разъезды чуть ли не из всех столиц Европы. Воины, прошедшие с боями от Москвы и Сталинграда до Берлина и Вены, с горячим любопытством осматривали однообразное степное раздолье.

Вокруг лежали изрытые сопки. Извилистые противотанковые рвы тянулись на десятки и сотни километров.

Траншеи и окопы встречались на каждой сотне шагов. Землянок было едва ли не больше, чем тарбаганьих нор. Миллионы кубометров земли передвинули человеческие руки за эти четыре года.

Сколько же потребовалось на это сил, упорства, мужества!

Ветераны войны знали настоящую цену воинского подвига.

— Хотя о вас не писали в сводках Информбюро, но работали вы знаменито,— говорили они солдатам и офицерам забайкальских полков и дивизий.

Забайкальцы вливались в общую массу войск, как равные, со своей особой славой — славой людей, выдержавших великое и тяжкое стояние на восточных рубежах Родины...

20 июля дежурный по штабу батальона принял срочную телефонограмму, адресованную комбату Тихонову. Точным и энергичным языком в ней предписывалось немедленно прибыть в штаб генерала Разина.

Тихонов и Буткин, пообедав, пришли в свою землянку, намереваясь поиграть часок в шахматы. Они расставили фигуры на самодельной, расчерченной цветными карандашами доске, но начать игру не успели: вошел дежурный. Прочтя телефонограмму, Тихонов молча передал ее Буткину и приказал дежурному готовить лошадь.

Генерал Разин встретил Тихонова радостным возгласом.

— А, майор Тихонов, здравствуй!

— Капитан,— поправил генерала Тихонов.

— Нет, отныне майор Тихонов. Вот приказ. И так сверх срока почти год в капитанах ходил. Ну, поздравляю, поздравляю от всего сердца.— Генерал протянул через широкий письменный стол сухую жилистую руку и крепко сжал руку Тихонова.— Присаживайся, майор, прошу.

По его сияющим из-под густых, нависших бровей глазам Тихонов понял, что генералу было приятно сообщить ему новость о повышении в звании.

— Как идет время, майор! — воскликнул Разин, приветливо и молодо поглядывая на Тихонова.— Я ведь помню тебя лейтенантом, командиром взвода...

— Мои однокашники по училищу, товарищ генерал, уже полками на фронте командовали,— сказал Тихонов.

— Да, да. Вот и мои товарищи во главе фронтов и армий стоят. Ты знаешь, майор, генерал-полковник,— Разин назвал фамилию популярного в стране генерала, войска которого довольно часто отмечались в приказах Верховного Главнокомандующего,— он же полком у меня в дивизии на Халхин-Голе командовал; а генерал армии,— Разин назвал фамилию другого известного советского полководца,— этот в гражданскую войну начальником штаба у меня был...

— Да, сильно выросли люди,— вставил Тихонов и со вздохом признался: — И, откровенно говоря, товарищ генерал, жалко, что не удалось повоевать на Западе. На днях встретил одного друга — у него на груди вся Европа: Бухарест, Будапешт, Берлин, Прага. Прямо завидно стало. И когда только успел человек!

— Ну что ж, майор, нам обижаться не на кого, а для угрызений совести тоже нет оснований. И мы Родине служили, и по всему видно, неплохо служили.

Генерал поднялся из-за стола, прошел к массивному стальному сейфу и длинным плоским ключом открыл его.

Вытащив желтую папку, он на руке раскрыл ее, отыскивая, по-видимому, какой-то необходимый ему документ.

Тихонов неотрывным взглядом следил за ним. В первые минуты их беседы он решил, что генерал пригласил его к себе, чтоб сообщить о присвоении нового звания. Правда, это можно было сделать по телефону, но генерал мог пожелать увидеть Тихонова по этому поводу лично.

Теперь Тихонов был твердо уверен, что генерал позвал его к себе с другой целью. Во всей фигуре генерала — высокой, сухой и чуть сгорбленной — проглядывала озабоченность, и набухшие кровью жилы на изогнутой шее выражали крайнее напряжение.

«Ну-ну, чем же ты меня порадуешь, старина?» — прислушиваясь к шелесту бумаг, думал Тихонов, не спуская глаз с генерала.

А Разин на несколько секунд задержал взгляд на какой-то бумажке, сунул папку в сейф, закрыл его и поспешно опустился в кресло с высокой резной спинкой.

— Майор, двадцать второго июля вверенному вам батальону надлежит сняться из пади Ченчальтюй и, совер-

шив марш, поступить в распоряжение командующего армией генерала...

Разин произнес это официальным тоном со строгим выражением на моложавом румяном лице, потом откинулся на спинку кресла, заглянул в глаза Тихонову и совсем просто, словно на его месте появился другой человек, сказал:

— Жалко мне, Прохор Андреевич, отдавать тебя другому командующему. Столько лет вместе! Был ты у меня на хорошем счету, и знал я — в решающий час можно тебе доверить самое трудное дело. Ну, ничего, жизнь у нас солдатская. Может быть, еще не раз встретимся.

Тихонов этого не ждал. «Прощай, падь Ченчальтюй»,— пронеслось у него в мыслях, а сердце защемило — будто не степной распадок, а родной дом, в котором он родился и встал на ноги, предстояло ему покинуть.

— Разрешите спросить: а замена будет? — взволнованно проговорил он.

Генерал весело засмеялся, понимая, о чем беспокоится комбат.

— Дворцы боишься без призора оставить?

— Хозяйство все-таки, товарищ генерал. Сколько поту пролили, Симочкина похоронили... Помню, как вы мне за его гибель выговор вкатили.

— Замена придет. На ваше место встанет гвардейский минометный полк. Он уже на подходе...

— Достойная смена. Этим не жалко наши дворцы передать,— без улыбки сказал Тихонов, про себя подумав: «На нашем участке, стало быть, артиллерийский кулак готовят. Верно задумано».

— Еще разрешите один вопрос, товарищ генерал: батальон вольется в какой-нибудь полк или будет на правах отдельного?

— Это уж как новый командующий решит, однако, полагаю, что вашим батальоном усилят один из маршрутов.

Через несколько минут Тихонов распрощался с генералом и, получив у начальника штаба подробные указания о порядке передислоцирования батальона, поехал обратно в падь Ченчальтюй.

...Тихонов любил ездить по степному раздолью. В эти поездки он брал с собой только ординарца Трубку. Было

у Трубки одно незаменимое качество — его молчаливость. Даже лошадь и ту Трубка ухитрялся погонять молча, легким похлестыванием вожжей по крупу.

Боец не мешал думать. Тихонов дорого ценил эти короткие часы, когда, озирая степь, можно было взвесить жизнь, унестись в прошлое, в будущее, подумать наедине о делах и людях батальона, вообразить встречу с женой, детишками, мысленно вволю наговориться с ними, налюбоваться на милые доверчивые мордашки ребят, незабываемые и в разлуке, какой бы длительной она ни была. Приближался вечер. Зной ослабел, солнце ярко-кирпичного цвета опустилось на вершину одной из сопок и лежало на ней круглое, полное, как переспевшее яблоко. Небо было чистое и высокое, но, невесть откуда взявшись, по степи метался сухой, горячий ветер. Зной и ветер в других местах — это было бы несовместимым. Забайкалье, как всегда, как во всем, оставалось все таким же своенравным и необычным.

Ветер проносился над головой Тихонова с каким-то ожесточенным шепотом, лихо и стремительно. Когда пришлось проезжать мимо тополевой рощицы, у линии железной дороги, Тихонов слушал, как тревожно трепещет на низкорослых деревцах листва, как по-живому шумят гибкие ветви, словно огромная стая птиц, взлетающая в небо.

Беспокойно и радостно было на душе у Тихонова. Мысли его теснились в мятежном беспорядке. Против обыкновения, ему хотелось сейчас высказаться — высказаться и о прошлом, и о предстоящем, и о себе, и о своих товарищах, но высказаться было не перед кем. Трубка сидел с лицом непроницаемо спокойным и казался бесконечно далеким от всего, что так волновало его, Тихонова.

— Трубка! — возбужденно воскликнул Тихонов.

— Ась? — встрепенулся боец.

— Опять ась! Четвертый год не могу отучить. Эх, Трубка, Трубка! А закурить хочешь?

Трубка скупо улыбнулся и, прежде чем взять папиросу из раскрытого портсигара, прищелкнул пальцем. Этот жест так выразительно передал удовольствие бойца, что Тихонов изумленно подумал: «Вот ведь как без слов привык обходиться!»

— Скажи, Трубка, где ты научился молчать? — не зная, как излить свое возбуждение, спросил Тихонов.

— С малолетства я глазурью посуду расписывал. Работаешь, и всё один, один, вот и попривык, товарищ капитан,— пояснил Трубка.

— Я, брат, теперь не капитан, а майор...

— Поздравляю, товарищ майор,— почтительно протянул Трубка.

— Спасибо. А насчет себя ты рассказывал. Помню, помню, ты в колхозе гончаром был.

Трубка прикусил папироску и до конца пути не произнес больше ни одного слова.

Тихонов курил беспрерывно папиросу за папиросой. «И что так лениво Гнедко переваливается! Буткин теперь ждет, все глаза просмотрел. Наверное, не догадывается, какие вести везу я»,— раздумывал Тихонов. Он раза два громко прикрикнул на жеребчика, бежавшего и без того спорой рысью. Но Трубка не одобрил его вмешательства. Он посмотрел на него выразительно, словно сказал: «Скотина — она бессловесная, по такой жаре ее и запалить недолго».

Тихонов усовестился, безвольно опустил руки, ссутулился, как бы покорился судьбе: двадцать километров, хочешь не хочешь — сиди, их не перепрыгнешь.

Но через минуту он уже не замечал ни Трубки, ни ветра, ни Гнедка, который постепенно сбавлял резвость.

Он сидел, увлеченно раздумывая.

И многое пронеслось в его мыслях из того, что пережито, и еще больше из того, что предстояло пережить.

Каков будет новый командующий? Какое дело поручат батальону? Когда начнутся события? Теперь они не могут не начаться.

И что собою представляет вероятный театр военных действий на полтысячи километров южнее того направления, на котором батальон значился теперь? Каковы там будут условия для ведения войны?

Да, теперь ему очевидно, что противника он изучал слишком узко. Все, что лежало от пади Ченчальтюй к востоку на добрых двести километров, он знал наизусть, знал так, словно сам хаживал по этим местам. А юг Маньчжурии? Много ли он о нем знает?

Мысли его неслись и неслись. Перед ним кто-то ставил уже боевые задачи: захват населенного пункта, преследование врага, прорыв укрепленной полосы... И мелькали

в воображении офицеры и бойцы батальона, приведенные в движение его волей. Вот и проверится, кто на что способен: бой даст точнейший отпечаток свойств каждого...

Двуколка подпрыгивала, Тихонов подскакивал, как мяч, на железных пружинах. Мысли его время от времени менялись, рождались новые кадры, будто начиналась другая часть того же кинофильма.

«Симочкин... Наказать, чтоб берегли могилу. Завтра же прикажу покрасить оградку...»

«...Ну, вот и кончилось, Тихонов, твое многолетнее сидение в сопках. Сколько же ты горьких дней пережил здесь, сколько крепких слов отпустил насчет этой местности, будь она не лихом помянута... А только и то правда: лучшего места для выучки солдат трудно найти».

Ему вспомнился обрывок разговора Петухова с Егоровым. Петухов по обязанности парторга батальона заполнял какие-то списки. Спрашивает Егорова: «Образование?» Тот говорит: «Гражданское — Иркутский государственный университет. Военное — забайкальская солдатская академия». И, посмотрев друг на друга, они залились веселым смехом.

«Забайкальская солдатская академия»... Ну, хоть и не академия, но школой можно назвать, и школой хорошей. Недаром фронтовые офицеры сибирякам и дальневосточникам дают высшую аттестацию.

Каков будет его батальон в бою? На фронт с границы мало брали, и батальон почти не обновлялся. Верно, за эти годы уехали на учебу в академию командиры рот Синеоков и Королев, выбыл еще кое-кто. Он знает каждого, но и его тоже знает каждый... Не слишком ли засиделся народ? Нет. Да и когда было засидеться? То жили в траншеях, то строили укрепления, то ловили диверсантов... И так все эти пять лет!.. А шпионы-то! Первый был... как его... Соловей — будь он проклят, второй Дубинчик, явился в качестве военфельдшера, третьего в бригаде актеров накрыли, четвертый с подложным документом от Генерального штаба приехал проверять боеготовность оружия, пятый был «шалый». Шел с намерением перейти границу, напоролся на секретный пост, хотел скрыться бегством, но Соколков одним выстрелом продырявил обе ноги... А нарушения границы, пограничного режима? Пусть, кому интересно, посмотрят боевой дневник батальона.

Нет, не могли засидеться в такой обстановке люди, и столько ненависти и ожесточения накопили они, что загорится эта ненависть в бою ярким пламенем... А все остальное от тебя, Прохор Андреевич, будет зависеть. Не зря говорится: каков офицер, таковы и солдаты...

— Тырр! — закричал Трубка так громко и так неожиданно, что Тихонов вздрогнул и, вглядываясь в мягкий сумрак июльского вечера, с удивлением увидел родные землянки Ченчальтюя.

— Быстро, Трубка, домчал ты меня,— не то с радостью, не то с сожалением произнес Тихонов и выпрыгнул из двуколки.

Его тотчас же окружили офицеры. Они собрались сюда, хотя никто их не созывал. По рукопожатиям, по взглядам Тихонов понял их нетерпение и, чтоб не мучить, сказал:

— Через полчаса, товарищи, прошу в штаб на совещание. А пока ты мне нужен, Петр Петрович.— Он слегка обнял Буткина, увлекая его в сторону, за землянки.

## 2

Восьмое августа на исходе...

Изнурительно медленно тянутся последние минуты. Ночь непроглядно темна. В степи так тихо, что слышно, как тренькают и звенят в воздухе комариные стаи. Где-то далеко-далеко вспыхнет неярким бордово-желтым светом зарница и, дрожа, загаснет. Степная пичуга, прикорнувшая на ночь в густой траве, по-человечьи вскрикнет спросонья и сразу же замолкнет в страшном испуге.

Степь сомкнулась с небом, а где, в каком месте — не отыскать. Темнота липнет, обволакивает, застилает землю, как дым лесного пожара. Не видно ни танков, ни повозок, ни автомашин, а их вдоль границы — тысячи! Людей еще больше: по степному раздолью залегли батальоны, полки, дивизии.

Последние минуты мира... Третья рота вся в сборе. Нет только командира. Старший лейтенант Егоров — у комбата, где-то тут же неподалеку.

Разговор не вяжется. Все, что думалось об этой войне,— все сказано на митингах: справедливость. Святая справедливость. О ней говорили горячие речи, ее прослав-

ляли русским многоголосым «ура», и от переполнивших душу чувств взлетали в небо пилотки и фуражки...

А теперь минуты сокровенного раздумья. Граница рядом. Другой мир рядом. Война рядом. И новая, совсем иная жизнь лежит за недолгими, не утекшими еще в вечность минутами...

Соколков растянулся на траве. Август еще в начале, но по монгольским просторам тянет прохладой. Он подергивает плечом, плотнее прижимается к спине Шлёнкина.

«Буду вместе с ребятами... Буду стоять за них, а они за меня...» — размышляет Соколков, и на душе становится спокойнее, и вспышки чистой, большой радости озаряют его душу.

Не один Соколков разговаривает в эти минуты сам с собой. Темнота скрывает задумчивые лица бойцов.

В кармане гимнастерки Соколкова лежит последнее письмо от Наташи. Ему хочется достать его и еще раз перечитать от начала до конца, но темь такая, что хоть глаз коли. Соколков вспоминает отдельные фразы:

«В университет уже многие вернулись. Приехал без ноги из Берлина доцент Куприянов — командовал полком. А помнишь Толю Новикова? С химического? Он тоже вернулся. И представь себе — Герой Советского Союза».

Еще бы не знать Тольку Новикова! С первого класса учились вместе. Счастливчик! Герой... И может каждый день видеть Наташу...

«Когда же ты вернешься, Витя? — продолжает вспоминать Соколков фразы из письма.— Посаженный нами с тобой в знак дружбы тополь уже вырос чуть не до крыши, а тебя все нет. Впрочем, не пойми это как отчаяние. Буду ждать тебя еще хоть десять лет...»

Соколков мысленно повторяет эти фразы, потом шепчет их.

— Ты что, молитву бормочешь? — спрашивает Шлёнкин.

— Стихи вспоминаю,— отговаривается Соколков.

— Нашел для стихов время,— с укоризной говорит Шлёнкин.

— А почему нет? Ты что, боишься? — шепчет Соколков.

— Как тебе сказать? Боязни нет, а волнуюсь... Черт ее знает, может быть, нам жить с тобой осталось минуты...

Соколкову хочется сказать: «Ну к чему такие мрачные мысли? Смотри на все бодрее», но произнести эти слова он не в силах. Нервная дрожь пронизывает и его.

— Все может быть, Терёша,— судорожно позевывая, соглашается Соколков.

Они замолкают, но Соколков перебарывает себя и вскоре опять слышится его голос:

— А умирать, Терёша, подождем. Наступил и наш черед воевать.

— Да умирать я и не собираюсь. Что ты?!

Итак, договорено обо всем, но Соколков вспоминает, что он забыл сказать Шлёнкину свою наиважнейшую просьбу. Лучше бы о ней умолчать после только что сказанных слов Шлёнкиным о смерти, но удастся ли ее высказать потом? Соколков тянется к уху Шлёнкина, доверительно шепчет:

— Терёша, если меня того... Ты пошли Наташе письмо... в комсомольском билете... Сколько на твоих фосфорических?

Шлёнкин поднимает руку, смотрит на поблескивающие стрелки и цифры:

— Через десять минут...

И снова молчание.

Вдруг слышатся чьи-то торопливые шаги. Они все ближе, ближе. Кажется, что идущий наткнется на бойцов третьей роты. Но вот шаги мгновенно затихают, словно человек провалился сквозь землю, с полминуты слышно лишь, как бренчат на своих однообразных бандурах липкие степные комары.

— Третья, поднимайсь! — коротко приказывает Егоров.

Значит, это он шел, шаркая сапогами о траву.

Все вскакивают, надевают скатки, вещевые мешки, винтовки, ощупывают привычными движениями рук затворы. Рота строится. В темноте не так просто найти свое место в строю, но солдат плечом чует товарища. Рота стоит в ожидании новой команды.

Расчерчивая черное небо узкими полосками, то алокрасными, то фиолетовыми, то зелеными, взлетают ракеты. Вслед за этим, где-то далеко-далеко, словно соперничая с зарницей, вспыхивает короткое заревцо. Оно вспыхивает два-три раза, затем начинает мигать ежесекундно.

— Артиллерия приступила к делу.

— Далеко, даже звука не слышно,— замечают в строю.

Рота стоит без движения еще несколько минут. Ах, как мучительны эти минуты — скорее бы в бой! И тишина! Она угнетает. Ведь где-то уже воюют! В чем дело? Почему нет команды двигаться?

Со свистом взлетает еще одна ракета — красная, с искрящимся продолговатым хвостом. Ракета не успевает еще лопнуть и рассыпаться, как степь оглашается ревом моторов.

Рев танков доносится откуда-то слева. До них, должно быть, тоже не близко, но сколько же их, если под ними дрожит земля и беспокойно колышется воздух! Рев все нарастает, и Егорову приходится кричать во все горло:

— Рота, за мной, шагом марш!

Команду слышат немногие, но опять выручает солдатское чувство плеча: товарищ тронулся, не отставай от него.

Позвякивают котелки, скрипит под ногами песок, кованые каблуки высекают искры из острых степных камней. Рота идет... идет. Бойцы вслушиваются в каждый звук, всматриваются в темень до боли в глазах. Винтовки наперевес оттягивают руки. Где же граница, где японцы? Танки прогрохотали в стороне и смолкли, не затихает только артиллерия. Зарево дрожит, разливается по горизонту, и, чем дальше идет рота, тем оно становится шире, крупнее, ближе.

— Бог войны по японскому укрепрайону жарит.

— Дождались своего и самураи,— негромко переговариваются бойцы.

Но ухо настороже, глаз напряжен.

Каждый думает только об одном: «Ну, где они, где они, эти бахвалившиеся, драчливые вояки? Скорее бы, скорее столкнуться с ними и испытать свои силенки».

Вдруг строчит автомат. Он строчит короткими очередями, и совсем близко. Бойцы рассыпаются, вздымают винтовки к плечу, но команды нет, а эхо от выстрелов прокатилось по степи и затихло.

В темноте кто-то маячит на лошади.

— Егоров! Что остановились? Продолжайте марш!

По голосу бойцы узнают комбата Тихонова. «Он с нами!» На душе у каждого становится спокойнее. Тихонов не даст врагу напасть врасплох. Он умеет видеть даже

ночью. Рота идет дальше. Выстрелов больше не раздается, но все их ждут, ждут...

Справа и слева движутся другие роты батальона. Порой они так сближаются, что слышно, как тяжело дышат люди. А ночь уже постепенно светлеет. Поднимается месяц откуда-то с земли, словно он лежал тут, прикорнув до поры до времени на траве. Степь, ранее сокрытая темнотой, предстает перед взором голубоватой и такой широкой, будто нет у нее ни конца ни края. Месяц светит недолго. Сумрак редеет, и в небо вонзаются пламенеющие лучи далекого солнца.

Через час начинает пригревать. Взору открывается такой неохватный простор, что робеет глаз. Над степью висят желтые тучи пыли, они виднеются впереди, позади, слева, справа. Под ними движутся колонны автомашин и танков, идут походным строем роты, батальоны, полки.

Все осматривают степь и понимают, какие несметные силы двинула Родина на Дальний Восток...

## 3

Близ полудня батальон Тихонова останавливается на привал. По данным карты, здесь должно быть озерко. Тихонов вместе с Буткиным отправляется искать его. Они бродят по кочкам, высокая и упругая, как щетина, трава полирует голенища их сапог. Тучи комаров с противным писком кружат над головами, липнут к потным лицам и рукам.

Озерка нет. Пока картографы чертили и печатали карты, вода испарилась. На месте озерка поблескивает солончаковая лысина.

— Напились, Петр Петрович, водички! — хмурясь, бурчит Тихонов.

Буткин вытаскивает из чехла новую саперную лопату с крашеным черенком, копает. Безнадежно. На воду нет и намека. Сухой песок лежит толстым слоем. Под ним глина — спрессованная, плотная, как кирпич.

— Попробуй тут вот, верь карте,— все так же хмуро говорит Тихонов. Он подзывает Егорова:

— Рассредоточьте роту, пошарьте по степи. Возможно, в карте ошибка, и озерко показано неточно.

Егоров выстраивает роту веером. Бойцы ходят по степи, приглядываются, ковыряют лопатами землю. Проходит полчаса, час — воды нет.

Батальон обедает. Дымит походная кухня. Белый колпак повара кажется на фоне зеленых просторов степи особенно ослепительным.

Поход походом, а сержант Сережкин верен себе: опрятность — первая заповедь повара.

Обед сварен на совесть! Щи покрыты желтой восковой пленкой жира. Гречневая каша рассыпается по крупинкам. После такого обеда невыносимо хочется пить. Но воды во флягах — чуть донышко закрыто, а знойный день почти весь впереди.

Бойцы скупо переговариваются. В горле сухо, язык липнет к нёбу. Некоторые с отчаянием машут руками, выпивают воду до последней капли. Более терпеливые делают осторожные глотки и прячут фляги в чехлы.

В течение часа батальон отдыхает. Солнце уже печет нещадно. Воздух горяч, как в жарко натопленной бане. В степи тихо — не колышется ни одна былинка. Бойцы прячутся от зноя под плащ-палатки, засыпают коротким, тяжелым сном.

Наряды боевого охранения зорко оберегают сон товарищей, всматриваются в степное, подернувшееся розоватым маревом раздолье.

То там, то здесь дымятся кухни. А дальше стоят неподвижные столбы пыли, поднятой людьми, лошадьми, машинами.

Прежде чем двинуться дальше, Буткин произносит речь. Морщинистое лицо замполита побронзовело, глаза воспалены от пыли и бессонницы. На гимнастерке проступили пятна. Пот и пыль насквозь пропитали материю защитного цвета.

— Товарищи! Вода будет через 45 километров. Надо их сегодня пройти во что бы то ни стало. Японцы отступают по всему фронту. На нашем участке они бегут в предгорья Хингана. Мы должны настигнуть японцев раньше. Хинганский хребет удобен для обороны. Засядут там — вышибать будет нелегко. А потому — вперед! Вперед! И еще раз вперед!

Первым в третьей роте начинает сдавать Шлёнкин. Он дышит все тяжелее и тяжелее. Пот застилает глаза. Плечи ноют. От ремня винтовки немеет рука. Ноги передвигаются тяжело, будто на них гири. Но покидать строй Шлёнкин не хочет и шагает... Шагает...

Рота постепенно растягивается. Кое-кто из бойцов опускается на землю, сбрасывает обувь. Портянки — хоть выжимай. Перекинув ботинки через плечо, солдаты спешат догнать товарищей. Но рота не стоит на месте. Чтоб нагнать ее, надо идти быстрее, чем она, а силы и так на пределе. Отставшие тянутся стайкой на некотором расстоянии от роты.

Соколков чувствует, что Шлёнкин вот-вот выйдет из строя. Терентий дышит уже с какой-то хрипотцой. Нет, Соколков не может допустить этого, он же комсорг, а комбат сказал, что для коммунистов и комсомольцев батальона нет сейчас более важной задачи, чем организованность на марше.

«И отчего его так развезло? Грузный, жиру много. То ли дело вот Прокофий Подкорытов. Идет себе, и даже пота на лбу нет», — сам с собой разговаривает Соколков и посматривает на Подкорытова. И правда, тот шагает свободно, чуть покачиваясь на своих длинных ногах, и кажется, что он идет не с тяжелой поклажей, а налегке.

Шлёнкин спотыкается. От жары у него кружится голова.

— Ты что, Терёша? — зачем-то спрашивает Соколков.

— Воды бы глоток, — говорит Шлёнкин сдавленным голосом, словно кто-то сжимает ему горло. Пустая фляга его болтается в чехле, пристегнутом к поясному ремню.

— На-ка, вот, приложи к губам тряпочку, — говорит Соколков и, осторожно приложив белый лоскуток к своей фляге, подает его Шлёнкину.

— Хорошо, язык еще чуть смочу, — отзывается Шлёнкин и берет тряпочку в рот.

Через несколько минут его дыхание становится опять шумным, и он, поскрипывая зубами, ожесточенно машет правой рукой.

Соколков и сам-то идет с крайним напряжением сил, но ему становится ясно, что, если сейчас Шлёнкину не помочь, он свернет в сторону, сядет на землю и тогда его не поднять никакими силами. И Соколков решается на крайнюю меру:

— Терёша, дай мне свою винтовку, передохни малость.

Шлёнкин колеблется, медлит, но отказаться не может. Соколков повторяет свое предложение более настойчиво.

Шлёнкин, не останавливаясь, снимает винтовку. Соколков с готовностью подставляет левое плечо — на правом висит собственная винтовка.

Почувствовав значительное облегчение, Шлёнкин чуть не падает. Стоило облегчить плечо, и ритм ходьбы требует перемены.

Шлёнкин делает несколько неуверенных шагов, но быстро уравновешивает тело. Какое блаженство! Плечо начинает жить. Немота, сковавшая руку, постепенно исчезает, затекшие пальцы восстанавливают прежнюю чувствительность.

Солнце льет на землю огненные струи. Земля накалена. Ноги жжет — кажется, что идешь по раскаленному железу.

Первые сто шагов Соколков делает довольно уверенно, но дальше винтовка Шлёнкина словно прибавляется в весе с каждой секундой. Соколков еще больше горбится, сильно раскачивается из стороны в сторону. Шлёнкин не дает товарищу выбиться из сил окончательно. Он уже чувствует себя способным не только нести свою винтовку, но и помочь Соколкову.

— Давай, дружище, мою «подругу»! — со смешком говорит Шлёнкин. — Спасибо тебе. И вот что, дай-ка на минутку твою. А ты переведи дух.

Соколков возвращает Шлёнкину его винтовку, а минутой спустя отдает ему и свою.

Пятьдесят, от силы семьдесят шагов Шлёнкин несет две винтовки, но как дороги эти секунды! Силы словно возвращаются к Соколкову, и он испытывает в душе глубокую благодарность к Шлёнкину.

Солдаты уже заметили взаимную выручку двух товарищей. Ничто не мешает им воспользоваться их примером — теперь уже никто больше не отстает.

Часам к пяти дня становится так душно, что даже степные птахи, щебетавшие в поднебесье, замолкают, попрятавшись в тени густых трав.

Рота заметно сбавляет шаг. У Соколкова от перегрева течет из носу кровь. Санитар дает ему вату, смоченную в каком-то растворе. Помогает. Пока Соколков лечит на ходу свой нос, его винтовку попеременно несут Шлёнкин и Подкорытов.

Временами сухощавый, жилистый Подкорытов несет три винтовки: свою, Соколкова и Шлёнкина. Он не гор-

бится от тяжести, как остальные, дышит свободно и лишь слегка покрякивает.

В роте появляется старший лейтенант Петухов с лицом густо-пунцового цвета, в пилотке, сбитой на макушку рыжей головы. Петухов — парторг батальона.

Как ни утомлены солдаты — старшего лейтенанта приветствуют громкими голосами. Петухов — желанный гость в роте. Все убеждены, что парторг непременно расскажет что-нибудь интересное. В батальоне знают, что Петухов не равнодушен к колхозной теме, некоторые подшучивают над этой слабостью парторга, но подшучивают дружески, беззлобно.

Петухов входит в середину колонны, и вскоре слышится его голос:

— Товарищи, а кто-нибудь есть у нас из Риги?

Рижан оказывается двое. Это молодые бойцы, присланные в роту незадолго до советско-японской войны из батальона выздоравливающих.

— Радостные вести, товарищи, идут из вашего города, — говорит Петухов. — Только что получен сегодняшний номер армейской газеты...

И Петухов рассказывает, что в Риге уже восстановлено много фабрик и заводов. На двенадцати трамвайных линиях, общей протяженностью более ста километров, нормально работает трамвай. Двадцать семь бань обслуживают население города. Двери двадцати трех кинотеатров открыты для трудящихся Риги.

Солдаты-рижане вносят дополнения по письмам от родных.

— А про Казахстан, товарищ старший лейтенант, слышно что-нибудь? — спрашивает Назир Кукенбаев — пожилой боец с черными усиками «в стрелку».

— О, брат Назир, хорошая слава идет по стране о Казахстане. В ближайшие дни у вас заканчивается строительство завода. Весь завод-гигант оснащен автоматикой. Даже горение в топках и подача воды в котлы регулируются автоматически. Многие насосы и компрессоры включаются без участия человека...

— Хорошо!

Кукенбаев от удовольствия щурит глаза, и они мечут в узкие прорези искорки большой радости. Назир гордо посматривает на бойцов, шагающих рядом, перемешивая русские слова с казахскими, торопливо рассказывает о

родных риддерских рудниках, на которых он работал до войны забойщиком.

Постепенно завязывается беседа о родных краях, о письмах, полученных из дому, о той восстановительной горячке, которая царит по всем городам и селам страны. С беседой идти куда легче!

Соколков толкает локтем в бок Шлёнкина, шепчет:

— Терёша, неужели старший лейтенант ничего о колхозах не расскажет?

Обветренные губы Соколкова дрожат от лукавой улыбки, улыбается и Шлёнкин.

— На колхозном фронте, товарищи, нынче большой разворот, — слышится голос Петухова.

Он рассказывает о ходе уборки на Украине, потом вспоминает свой родимый Алтай, называет имена знатных комбайнеров, подсчитывает «средний вес» трудодня в лучших колхозах. Солдаты помогают ему высчитывать то урожайность на гектар, то нормы выработки передовиков, то общие доходы колхозов-миллионеров.

Беседа так увлекает всех, что на время люди забывают о жаре и усталости.

Петухов замечает, что рота подтянулась, даже отстававшие солдаты и те бойко шагают вместе со всеми.

— Ну, бывайте здоровеньки, товарищи. Оружие берегите, сами будьте начеку. Разведка доносит, что японцы спешно создают из своих полков и батальонов летучие отряды.

Петухов уходит в другую роту. Его провожают взглядами, полными глубокого уважения. Кто-то кричит вдогонку:

— Почаще приходите, товарищ старший лейтенант!

Петухов оборачивается, кивает головой.

В роте смолкает разговор. Петухов ушел, но все, что он говорил, незатухающей искоркой запало в душу каждого. Великие дела совершаются там, на Родине! Еще не отгремели бои, а в стране кипит созидательная работа. Скорее, скорее довершить разгром ненавистных японских самураев, уничтожить опасность нашествия врага на Родину с Востока — и за дело, на леса новой пятилетки!

Уже вечером, в сумерках, батальон подходит к озеру, возле которого намечена ночевка. Увидев поблескивание воды, освещенной месяцем, солдаты ускоряют

шаг. Жажда невыносима. Она держит в страшном оцепенении не только все тело, но и мозг. Хочешь этого или не хочешь, а мысли твои об одном и том же — о воде.

Солдаты, предвкушая удовольствие, которое сулит озеро, громко разговаривают об этом.

— Полведра без отдыха выпью!

— С ведром управлюсь!

— Залезу в озеро и буду всю ночь лежать!

Когда до озера остаются считанные метры, кое-кто пытается бежать. Но путь к воде им преграждает сам комбат. Он сердито кричит:

— Кругом, шагом марш!

В сумраке солдаты успевают рассмотреть, что батальонный врач Тарасенко и начальник штаба Власов вошли по колено в озеро и, пробуя воду, почему-то отплевываются.

Вскоре все проясняется. Приходит Тихонов. Он говорит:

— Озеро, товарищи, соленое, пить воду нельзя.

Кое-кто из более догадливых солдат бросается к обозу. Там есть бочка с водой — НЗ (неприкосновенный запас). Теперь ее, вероятно, разрешат открыть. Люди не пили целый день. Но, еще не доходя до бочки, солдаты слышат грозный окрик часового:

— Вертай назад!

Солдаты догадываются, что бочка взята уже под особую охрану.

Солдаты возвращаются к кострам, на которых вместо дров дымится степной бурьян.

Буткин беседует с батальоном:

— Придется терпеть, товарищи. Израсходовать последнюю бочку воды нельзя. Мы должны чем-то напоить лошадей. Без пойла они не пойдут, а это значит, что мы растеряем обоз и окажемся небоеспособными.

Солдаты слушают Буткина молча, насупившись. Да, замполит думает мудро, говорит убедительно, но пить, пить все-таки хочется смертельно.

Пока Буткин беседует с солдатами, Тихонов диктует радисту донесение в штаб армии:

— Приказ генерала выполнен. Батальон за истекшие сутки прошел пятьдесят километров. Озеро оказалось соленым. Сидим без пресной воды. Продолжение марша

завтра будет протекать в сложнейших условиях — до ближайшего колодца сорок километров...

Поспевает ужин. Повар Серёжкин зазывает солдат к котлам. Но никто не идет. Кому же придет охота есть свиную тушенку с сушеным картофелем, когда хочется выпить хотя бы глоток воды? Серёжкин гасит костер, закрывает котлы до утра.

Ночью почти никто не спит, все бредят водой. Солдаты бродят по берегу озера, отчаявшись, пытаются пить соленую воду, но жажда от этого становится еще более изнуряющей. Кое-кто приспосабливается и слизывает скупую росу с лепестков степной травы.

На рассвете Тихонов поднимает батальон. В степи прохладно, воздух отдает сырцой — время для марша самое лучшее. Днем разгар зноя придется пережидать под раскинутыми плащ-палатками.

Тихонов смотрит на роты со стороны. Шаг у солдат тяжелый, лица сумрачные, под глазами синева. Денек, видно, будет сегодня памятный!

Комбат догоняет санитарные повозки, спрашивает Тарасенко:

— А лекарства, капитан, у вас не слишком далеко лежат?

Военврач понимает, что беспокоит комбата, отвечает:

— Будем наготове, товарищ майор.

Вскоре появляется солнце. Не проходит и часа, а оно начинает уже припекать. Тихонов думает с сожалением: «Не выпал же на наше счастье пасмурный день» — и тревожно осматривает растянувшуюся колонну.

Вдруг из глубин безоблачного неба доносится далекий рокот самолета. Протяжный звук нарастает с каждой секундой. Это, по-видимому, идет на бомбежку советских войск уцелевший после сокрушительных ударов нашей авиации японский самолет.

— Воздух! — подает команду Тихонов.

Батальон рассыпается на мелкие группы. Солдаты ложатся на землю, вздымают винтовки: во время войны с немцами немало сгибло фашистских пиратов от меткого огня советских пехотинцев.

Тихонов подзывает радиста, приказывает, чтоб, в случае если самолет окажется японским, он передал сообщение об этом в штаб армии и соседним частям.

Справа и слева от батальона движутся мощные колонны войск всех родов. Тихонову приказано прокладывать линию наступления между ними и при необходимости вступать с этими колоннами во взаимодействие.

Самолет приближается, увеличиваются его очертания. Вот он над батальоном. Все видят на его огромных крыльях красные звезды.

— Наш! «Воздуху» отбой! — слышатся голоса офицеров.

Солдаты поднимаются с земли, обоз стягивается в одно место. Самолет делает круг над батальоном и снижается.

— Уж не думает ли он садиться? — недоуменно переглядываясь, говорят солдаты.

И в самом деле, самолет все опускается и опускается, словно присматривается: хороша ли площадка для приземления.

Через минуту-другую он скользит колесами по земле, катится, вздымая за собой облако пыли. Тихонов, Буткин, Власов бегут к самолету. Солдаты спешат за ними, одни в строю, другие свободно.

Из самолета выпрыгивают пилот, штурман, бортрадист. Командир корабля, офицер с лейтенантскими погонами, спрашивает приближающихся:

— Товарищи, чье это хозяйство? Нам нужен майор Тихонов.

— Вы не ошиблись. Я майор Тихонов, — говорит комбат.

— Я же говорил тебе, Виктор, что прямо в середину батальона тебя привезу, — смеется штурман, кудрявый юноша, поглядывая на лейтенанта.

— Воду вам привезли, товарищ майор. Сам командующий послал. Кроме того, два тюка сегодняшних газет, — говорит командир корабля.

Тихонов бросается к летчику, обнимает его.

— Ну, выручили вы нас! Спасибо! И командующему спасибо. Какие генералы у нас, а? Я ведь ничего не просил, ни на что не жаловался...

Солдаты уже окружили самолет. Весть о том, что самолет доставил воду, передают из уст в уста, загоревшие лица словно расцветают от широких, простых улыбок.

Пока воду переливают из жестяных бочонков в деревянные бочки, стоящие на телегах, солдаты читают газеты, пахнущие еще свежей типографской краской.

На первой полосе напечатано сообщение Советского информбюро о положении на фронте. Буткин прочитывает его вслух, комментирует краткими замечаниями, потом спрашивает летчиков:

— А где вы побывали, товарищи, что повидали?

Летчики смеются, и штурман, встряхивая кудрявой головой, говорит:

— А вы спросите нас, товарищ капитан, где мы за эти дни не бывали? Харбин бомбили, Маньчжуро-Чжалайнурский укрепленный район бомбили, десанты сбрасывали, горючее передовым танковым отрядам возили, водичкой вашего брата пехотинца снабжали, медикам лекарства возили... Да где мы только не побывали?!

Штурмана слушает не только Буткин. Солдаты оторвались от газет, затихли, смотрят на летчиков с изумлением и завистью. «Счастливцы эти крылатые люди!»

— А как там наша пехота воюет? — спрашивает Тихонов.

— Дают самураям дрозда! — восклицает командир корабля.

Он рассказывает о героях, прорывавших маньчжуро-чжалайнурские укрепления. Долговременные сооружения здесь имели мощные прикрытия. Толщина их достигала двух метров. Много было подземных казематов и многоамбразурных дотов. Ничто не устояло перед натиском советских воинов!

Дослушав до конца рассказ летчика, солдаты говорят:

— Вот это воюют люди! А у нас воды на один день не хватило — и уже скисли!

Но ни пехотинцам, ни летчикам нет времени затягивать разговор. Опять ревут моторы. Самолет несется по степи, отрывается от земли, делает над батальоном прощальный круг и ложится на свой курс.

Проводив его взглядами, солдаты наполняют фляги водой. Батальон выстраивается в походную колонну. Тихонов подает команду, присматриваясь к солдатам, говорит Буткину:

— Сегодня, Петр Петрович, километров на шестьдесят рванемся вперед. Ты смотри, какое у людей боевое настроение!

Замполит согласно кивает головой.

## 4

Егоров не устает размышлять. Хотя забот у комроты прибавилось, времени на это хватает. Увлекшись мыслями, легче идти.

Степь, ее однообразная безграничность рождает ожесточение. Временами заболеваешь от пространства — глаза ищут опоры, появляется неутолимая жажда лесных запахов и лесной прохлады. Простор степи, воспетый тысячи раз поэтами, изнуряет, как пытка.

Когда можно, Егоров идет с закрытыми глазами. Шагнет три-четыре шага, посмотрит, гладко ли впереди, и опять закроет глаза.

Никогда ранее не испытывавший склонности к литературному творчеству, он пользуется сейчас на привалах свободной минутой, чтоб занести в толстую записную книжку в потрепанных бордовых корочках свои мысли и впечатления.

«Внутренняя Монголия. Стоянка в степи возле безвестного озера Табун-Нур.

Сегодня тридцать пять лет. Отправляясь в тридцать шестое путешествие вокруг солнца, хочется прожить сто лет! Берусь подсчитывать: в 1950 году мне будет 40, в шестидесятом году — пятьдесят лет, в семидесятом году — шестьдесят лет, в восьмидесятом году — семьдесят. Но это еще не предел. Сколько же я могу сделать нужного людям, если доживу до тысяча девятьсот восьмидесятого года! Много! Мир широк, и его широта захватывает... Иду в свой тридцать шестой год полный дум, поисков и надежд».

«Новый привал в степи. Углубляемся на вражескую территорию. Японцы бегут, и столкновения с ними еще не было.

Сознание того, что ты участник этих событий, наполняет гордостью. Это переживают все солдаты. Теперь кажется оправданным наше четырехлетнее сидение на границе и все пережитое и перечувствованное в те годы...»

«Думал много о Сашеньке и дочурке. Припомнились слова Ивана Сергеевича Тургенева: «Разлуку переносить и трудно и легко. Была бы цела и неприкосновенна вера в того, кого любишь, — тоску разлуки победит душа».

«Еще один привал в безлюдной степи.

Час назад наткнулись на монастырь, спрятанный среди неожиданно появившейся в степи гряды сопок. Это пока первое человеческое строение, встреченное на нашем пути. Монастырь захламленный, аляповатый, люди ушли неизвестно куда.

Разведчики говорят, что населенные пункты пойдут только после перевала через Хинганский хребет, но до хребта еще шагать да шагать!

Сводки Совинформбюро радостные. Наши войска на других направлениях берут город за городом. Даже завидно становится!

Со ссылкой на иностранное агентство передано сообщение о капитуляции Японии.

Был начальник политотдела армии. Собирал офицеров у комбата, требовал бдительности и высокой боеготовности, заявил, что самое трудное еще впереди.

Быть ко всему готовым — вот мой девиз».

## 5

Перед закатом солнца батальон Тихонова, миновав зыбкие песчаники, поросшие мелким ивняком, выходит на ровную поляну, окруженную барханами.

До Хингана еще десятки километров, а местность начинает меняться. Изредка перепадают кустарники, пересохшие ручейки, одинокие сопки, похожие на древние могильники.

К барханам жмется двор из глинобитных стен. Посередине двора высокий бревенчатый дом, а вокруг него не менее десяти мрачных, с двумя-тремя маленькими окнами, мазаных домиков.

Напротив двора, через дорогу, огромный монастырь. Крыша отделана желтой медью, сияет от лучей солнца. С какой стороны ни взгляни — первое, что видишь,— отблески меди. Стены монастыря, крыльцо, узкие окна отделаны резным деревом. На них многорукие, хвостатые, многоголовые чудовища.

За монастырем расстилается равнина, как бы вырвавшаяся из-под власти песчаных барханов. Тысячи овец и сотни волов пасутся на этой равнине.

Всем этим владеют тринадцатилетний князек и его мать.

Высланная Тихоновым разведка доносит, что японцы покинули княжество три дня назад. Советских войск здесь не было. Передовые отряды, по-видимому, прошли где-то в стороне.

Тихонов знает коварство японцев, и роты входят в княжество не сразу, а одна за другой, и все с разных направлений.

У ворот Тихонова встречает необыкновенно толстая, с заплывшим лицом княгиня в ярко-цветистом, расшитом золотом халате. Она держит за руку мальчика в дорогой шелковой одежде. Тот ошалело смотрит на Тихонова и бойцов, жмется к пухлому туловищу матери.

Княгиня кланяется. Крепкими подзатыльниками заставляет кланяться сына, но дикие глаза князька полны страха, и он стоит, втянув голову в плечи.

Тихонов рассматривает далембу невиданно хитрой раскраски, приближается к княгине с сыном. Еще за десять шагов до них ударяет в нос крутой запах бараньего сала. От запаха поднимается тошнота. Тихонов останавливается. Только теперь он замечает, что дорогая одежда княгини и сына в жирных пятнах.

Переводчик, прикомандированный к батальону штабом армии, маленький белобрысый офицер, по виду совсем еще подросток, переводит княгине слова Тихонова:

— Он, командир подразделения Красной Армии, должен осмотреть все строения. Чем это вызвано, он не намерен объяснять. У войны есть свои законы. Хозяйка может не беспокоиться — ее имущество будет в полной сохранности, ее права ни в чем не будут поколеблены или нарушены. Он просит об одной любезности: выделить провожатого.

Княгиня кланяется пуще прежнего. Она что-то долго лопочет, посматривая то на Тихонова, то на переводчика, то на взвод автоматчиков, стоящий за офицерами.

Переводчик, терпеливо выслушав ее, переводит:

— О, зачем провожатый! Она сама проведет господина офицера. Она бесконечно рада приходу Красной Армии. Столько лиха пережила она при японцах. Тысячи, многие тысячи голов скота поставляло ее княжество японской армии. Японцы были жестоки, не давали никакой пощады бедным баргутам. Она так рада приходу Красной Армии, что дарит господину офицеру из своих стад двадцать волов и сто баранов.

Тихонов смущенно благодарит, отказывается принять подарок. Переводчик уже начинает переводить, но его останавливает Буткин.

— Не надо отказываться, Прохор Андреевич, — говорит он. — Княжество, насколько я разбираюсь в делах, от этого подарка не обеднеет. Кроме того, учти: местные обычаи — не принять подарка — это значит грубо обидеть хозяина. Бери. Обоз батальона пополнится новой тягловой силой. Многие тяжести с плеч бойцов можно будет переложить на спины волов. Бараны тоже пригодятся. Бойцам осточертели всякие концентраты. Свежее мясо прибавит нам сил в походе.

Тихонов слушает Буткина с изумлением. Умеет же человек видеть всегда главное!

Тихонов просит переводчика сказать княгине, что он благодарит ее за подарок и выделяет для его приема своего помощника. Княгиня подзывает к себе морщинистого старика с выцветшими глазами и велит сейчас же скакать к стадам.

Потом Тихонов осматривает княжеский дом и монастырь. Всюду стоит запах бараньего сала. Воздух насыщен им до головокружения. Тихонов все переносит стойко, считая неудобным на глазах хозяйки зажимать нос платком.

Посетив жилище княгини и монастырь, Тихонов направляется в маленькие серые домики. В них сыро и темно.

По углам сидят на кошме ламы — молодые, крепкие парни угрюмого зверковатого вида. При входе княгини и Тихонова они не спеша встают, закидывая руки за спины.

Тихонов присматривается к ним, улучив удобный момент, шепчет начальнику штаба:

— Власов, пригляди за этими святошами.

Тот немедленно передает приказание выставить у княжеского двора секреты.

...Батальон располагается на ночевку в километре от княжеского двора, у подножия бархана, поросшего редким и мелким кустарником.

К ночи небо хмуреет. Начинает сверкать молния — надвигается гроза. Тихонов приказывает развернуть палатки. Дождь не должен мешать отдыху, — завтра предстоит пройти около шестидесяти километров.

Батальон ужинает. Серёжкин приготовил рагу из свежей баранины.

— Молодец! Быстро развернулся! — хвалят бойцы повара.

Через полчаса бивак затихает. Люди засыпают в одно мгновение. Не спит только третья рота: она сегодня несет караул.

Обойдя часовых, расположение которых обеспечивает батальону круговую оборону, Егоров забирается в палатку. Власов уже спит. Егоров лежит с открытыми глазами, прислушивается. Где-то за барханами заунывно шумит ветер. Доносятся протяжные раскаты грома. Гроза идет стороной. Егоров нажимает кнопку карманного фонарика, смотрит на часы: половина второго.

Невыносимо хочется спать. Голова становится тяжелой. Егоров ставит локоть на землю, кладет голову на ладонь и будто проваливается в небытие.

Просыпается от свиста и грохота. Дождь с остервенением бьет по брезенту. От ударов грома звенит в ушах. Первое, о чем думает Егоров, — о солдатах. «Вымокнут насквозь, а сушить одежду негде». Потом он смотрит на часы: долго ли спал? Без пяти два. Ничего себе отхватил — двадцать пять минут!

Голова уже не кажется свинцовой. Мысли ясные, ощущения отчетливые. Спать больше не хочется. «Через десять минут схожу на поверку постов, — решает Егоров, но тут же передумывает. — Пусть пройдет гроза. Противник тоже ищет лучших условий для боя, вряд ли он полезет в бурю...»

## 6

Вдруг в раскаты грома врывается резкий выстрел. Егоров вскакивает и вылетает из палатки. Холодные, упругие струи дождя секут его лицо. Ветер сбивает с ног. Яркие вспышки молнии ослепляют, но, пользуясь этим зеленовато-багровым светом, разливающимся по степи, он старается понять обстановку. Раздается еще один выстрел. Вслед за ним строчат автоматы, строчат надсадно, словно хотят перекрыть басовитое рычание грома.

Егоров в неведении не больше десяти секунд. В его ощущении — это вечность. Наконец он замечает, что по склону холма ползут люди. Ему хочется получше рассмот-

реть, куда они ползут и много ли их, но свет внезапно гаснет. При следующей вспышке удается заметить, что люди прячутся за кустарники и песчаные бугорки, нанесенные тут ветром в великом множестве.

«Ночное нападение смертников. Вот тебе и не полезет противник в бурю», — проносится у него в мыслях. В тот же миг созревает решение: немедленно привести все огневые средства обороны в действие. Японцы могли окружить батальон.

Егоров поднимает автомат и выпускает две короткие очереди трассирующих пуль. Это условный сигнал: огонь!

Теперь земля и небо содрогаются не только от грома и молнии, от ветра и дождя, — трескотня автоматов, пулеметов, винтовок, взрывы гранат сливаются в сплошной гул.

Дождь не затихает, но молния, как назло, вспыхивает реже. Рядом с Егоровым Тихонов, Буткин, Власов. Они ждут каждой вспышки молнии. Как ни прижимаются японцы к земле, молния их демаскирует, а Тихонову помогает направлять огонь с большей точностью.

Батальон в темноте роет дополнительные окопы, углубляет подготовленные с вечера. Японцы пока не отвечают на огонь, но ясно, что они ответят. Надо дорожить минутами.

Гроза затихает мгновенно. Тихонова так и подмывает выдвинуть одну роту в степь преследовать японцев, но кругом темно, силы врага неизвестны, и он решает ждать рассвета.

О сне больше никто не помышляет. Тихонов приказывает через небольшие промежутки времени освещать местность ракетами. Сотни глаз всматриваются в даль. Тихо, безлюдно по склонам барханов. Японцы ушли. Но куда они ушли? С какой целью? Не готовят ли они сосредоточенный огневой налет на советский батальон?

Тихонов не теряет дорогих часов, вносит новые поправки в расположение батальона. По голой равнине японцы нападать не рискнут, следовательно, больше оружия надо сосредоточить в направлении гряды барханов. Пока происходит перестановка сил, начинает брезжить рассвет.

Егоров с ротой направляется за барханы. Возвращается, сверх ожидания, очень быстро. Гряда барханов, а так-

же редкие кустарники, примыкающие к ней, пройдены насквозь — японцев нет, нет и трупов. Неужели стрельба была настолько неумелой? При таком огне у японцев не могло не быть потерь.

— Трупы унесли. Надо осмотреть степь дальше, — говорит сумрачно Тихонов.

Несколько взводов выдвигается в степь. Вскоре прибывает первое донесение. В километре от стоянки, в балке, запрятано семь трупов японцев. Через пять минут второе донесение от того же взвода: найдено еще четыре убитых японца.

— Вот это другое дело! — говорит Тихонов.

Спустя некоторое время прибывает третье донесение — на этот раз от другого взвода. Тихонов прочитывает его и вдруг свирепо рубит кулаком воздух.

— За княжеской усадьбой, в кустарнике, в песке, обнаружены трупы. Раздеты до белья, ножевые удары в сердце и живот, выколоты глаза, на щеках вырезаны звезды. В трупах опознали наших бойцов Афонькина и Толстова.

Все это читает вслух Буткин. Тихонов стоит тут же как гранитное изваяние. Бойцы были выставлены с вечера в секрет. Он хорошо знал этих бойцов, и ему тяжело примириться с мыслью, что их уже нет. Комбат припоминает биографии бойцов. Афонькин из Томска, совсем еще юноша. Техник-строитель. Техникум кончал без отрыва от производства, работая каменщиком. Упорный был паренек. Любил свой город страстно и преданно. «У нас в Томске каждый пятый житель студент», — с гордостью говорил Афонькин. А какая у него семья?.. Мать! Бедная женщина, горькое известие ждет тебя...

Толстов... Черемховский шахтер. Воевал на Халхин-Голе... Трое детей... Член партии...

— Петр Петрович, — обращается Тихонов к Буткину, — насчет Толстова напиши в райком, пусть сирот не забудут.

Буткин стоит с раскрытым блокнотом, еще и еще раз перечитывает донесение о зверствах японцев. Душа его переполнена скорбью и ненавистью. Сейчас на митинге он не скажет ни одного лишнего и пустого слова. Любой звук его речи, прежде чем родиться, пройдет через самые сокровенные тайники сердца, и незримое пламя его души обожжет каждого.

— Стройте, Власов, батальон, — приказывает Тихонов. Пока он думал о погибших бойцах и разговаривал с Буткиным, в уме шла усиленная работа и зрело решение. Надо окружить усадьбу княжества. Короткая цепочка барханов слишком ненадежное укрытие. Наверняка враг использовал усадьбу. А гибель бойцов, оставленных в секрете? Все нити тянутся прямо в княжеский дом.

Тихонов сообщает о своем замысле Буткину, Власову и командирам рот. Комбат еще не приказывает, а советуется. Его намерение встречает единодушное одобрение. Через несколько минут батальон движется на выполнение новой боевой задачи.

## 7

И снова Тихонова у ворот встречает заплывшая жиром княгиня с сыном. Она почтительна и угодлива не меньше чем вчера. Но Тихонов замечает, что в глазах ее под полуопущенными веками не угасает тревога.

Господину офицеру что-нибудь потребовалось? О, она будет рада услужить!

Тихонов не слушает ее. Он спешит в серые, приземистые домики. Теперь его сопровождают взвод автоматчиков и взвод ручных пулеметчиков. Солдаты увешаны связками гранат.

Тихонов входит в крайний домик. Ламы поднимаются. Встревоженно смотрят на вошедших. Прищурившись, комбат одним взглядом окидывает их. Его догадка справедлива! Лам по сравнению со вчерашним наполовину меньше. Тихонов спешит во второй домик, третий... Та же картина!

Комбат говорит переводчику:

— Спросите, младший лейтенант, у княгини, куда девались японские солдаты и офицеры, сидевшие вчера тут под видом монахов.

Княгиня разыгрывает крайнее изумление. Тонкие брови ее изламываются и дрожат, как крылья стрекоз. Глаза закатываются под лоб.

Тихонов передает свое решение княгине относительно полного обыска в усадьбе. Княгиня порывисто выступает вперед, встает на колени и начинает что-то говорить торопливо и долго. Переводчик переводит всю ее тираду единой фразой:

— Она клянется, что в ее доме нет ничего военного.

А обыск уже идет. Им руководит Власов. Вскоре он прибегает сам и докладывает Тихонову, что под княжеским домом обнаружен склад японского оружия: винтовки, гранаты, кинжалы.

Рядом со складом размещена камера японской разведки: найдены фотоаппараты, большое количество негативов, запас литературы, серебряные китайские деньги, несколько ящиков божков и священных шелковых свитков, склянки с ядом и другое имущество, необходимое для диверсий и провокаций.

Переводчик по приказанию Тихонова сообщает о найденном княгине. Он передает ей также предложение комбата добровольно указать, где еще скрыто имущество японской армии.

Княгиня в обмороке падает на землю. Сын валится рядом. Тихонов замечает, что один глаз княгини приоткрывается и напряженно следит за ним.

Не проходит и четверти часа, как Власов вновь прибегает. В подземелье найден склад одежды: первая половина склада — форма японской армии, вторая — халаты лам.

Связь со штабом армии батальон поддерживает при помощи радио. Власов передает короткое донесение о происходящих событиях, просит немедленно выслать команду трофейного отдела для приема имущества и оружия.

Тихонов совместно с Буткиным и Власовым обсуждает вопрос о поимке японских бандитов. Власов предлагает возобновить поиски отряда в степи.

— Дело это заманчивое и может сильно задержать нас. А мы ведь имеем направление и маршрут, расписанный генералом по числам, — высказывает свои опасения Тихонов.

— Что ж, товарищ майор, выходит, эти шакалы останутся невредимы? Наших колонн тут еще немало пройдет, — горячится Власов.

Тихонов молчит. Слышится голос Буткина:

— Убежден, что поиски в степи не принесут успеха. Японцы прячутся где-то недалеко. Единственно, кто может нам помочь — это пастухи.

Тихонов смотрит на Буткина.

— А правильно, Петр Петрович!

— К ним надо послать сержанта Серёжкина, — предлагает Власов. — Он вчера принимал там скот в подарок и такую дружбу с пастухами завел, что водой не разольешь! Они его бараниной угощали, он их — папиросами. Значок подарил им. Они же не привыкли к такому обращению. Самый последний японский солдат держался с ними как повелитель.

Вызывают Серёжкина. Он выслушивает, какую задачу ставит перед ним комбат, и весь преображается. Наконец и на его долю, долю батальонного повара, выпадает настоящее дело.

Серёжкин отправляется к пастухам вместе с переводчиком. Пастухи узнают его, но, странно, почему они так сдержанны. Не размахивают руками, не кричат, не улыбаются, как это было вчера, когда он уходил от них.

Серёжкин и переводчик подходят ближе и видят, что пастухи чем-то не на шутку встревожены. Они взволнованно переговариваются, посматривают то на Серёжкина, то на усадьбу княгини, то куда-то в степь.

Один пастух, молодой, высокий, гибкий, как ивовый прут, выходит навстречу Серёжкину. Сержант замечает на его груди свой подарок — значок. Огненные глаза пастуха расширены, ноздри раздуваются. Он отчаянно машет рукой. По жестам Серёжкин догадывается, что пастух просит его дальше не идти.

— Что ты, дружище? В чем дело? — говорит Серёжкин и пытается обнять пастуха за плечи.

Но тот отскакивает, лицо его становится еще более встревоженным.

— Чик-чик! Пух-пух! — тыча себя длинным пальцем в шею, шепчет пастух и дико косит глазами; он что-то говорит, изображая всем своим видом испуг и тревогу.

— Что он бормочет, товарищ младший лейтенант? — спрашивает сержант у переводчика. Но переводчик словно не слышит. Он смотрит на пастуха не сводя глаз.

— Можно идти, Серёжкин, назад. Пастух предупредил нас об опасности и рассказал, где скрываются японцы.

Серёжкин жмет руку пастуху, а переводчика просит поговорить с ним на его родном языке. Переводчик говорит. Пастух поражен, он смотрит вначале на переводчика с испугом, но постепенно выражение его лица меняется — глаза веселеют, и в улыбке обнажаются белые, крепкие зубы.

Часом позже, проделав стремительный марш в сторону от своих дорог, батальон приближается к месту, где прячутся японцы. Степь здесь необычна. Русло переставшей существовать реки образовало глубокие балки. Густой кустарник искусно скрывает все щели, но площадь, покрытая ивняком, незначительна.

Тихонов берет кустарник в полуохват. Власов советует не рисковать людьми, залечь, а кустарник накрыть минометным огнем. Тихонов соглашается.

Минометы секут ветки. То в одном месте, то в другом появляются в кустарнике зияющие дыры. С каждой минутой их становится все больше и больше. Но японцы не подают никаких признаков своего присутствия. «Тут ли они? Не ушли ли? Не обманули ли нас пастухи?» — обеспокоенно думает комбат. Он прекращает огонь минометов и приказывает второй роте войти в кустарник. Едва та делает первые шаги, как раздаются винтовочные залпы. Рота залегает. Благо вокруг рытвины, бугры. Пули свистят над головой, ковыряют землю.

У Тихонова созревает новый план: произвести на кустарник сосредоточенный огневой налет, а затем броситься в атаку.

Через несколько минут батальон приводит в действие все свои огневые средства. В этом хоре слышатся голоса винтовок, автоматов, пулеметов, минометов. Батальон оснащен различным оружием по всем правилам, сложившимся на опыте борьбы с гитлеровской армией.

Японцы вначале рьяно огрызаются. Кроме винтовок они вводят автоматы. Но огонь их производит много шума, а цели не достигает. Сказываются несовершенство и техническая отсталость японского оружия. Пули автоматов падают, не долетая до цепей советских солдат. Правда, без потерь не обходится. Винтовочным огнем японцы убивают во второй роте двух солдат и трех ранят. Тихонов усиливает темп огня. Под его прикрытием вторая рота попластунски достигает опушки кустарника.

Однако осуществить второй этап своего замысла комбат не успевает. Над кустарником вздымается палка с белым лоскутом. Тихонов приказывает прекратить огонь.

Весь батальон с напряжением следит за движением палки с тряпкой. Людей в кустарнике еще не видно, но белый лоскут все ближе и ближе к опушке ивняка. Бойцы и офицеры ждут появления японцев затаив дыхание.

— Ну, посмотрим, Петр Петрович, с кем мы имеем дело,— говорит Тихонов Буткину. Майор стоит, нацелив фотоаппарат. Такой кадр представит большую ценность для истории батальона.

Пробираясь сквозь ветви, выходит низкий, щуплый, в роговых очках офицер. Он несет в одной руке древко с белой тряпицей, в другой — маузер. За ним выходят еще два офицера, а дальше тянутся гуськом унтера и солдаты.

Тихонов жестом показывает, где складывать оружие. Японцы один за другим подходят, кладут в кучу винтовки, автоматы, револьверы, гранаты, ножи и мечи, кланяются Тихонову и отходят в сторону.

Вид у японцев испуганный, обмундирование изодрано, обувь разбита. Солдаты жмутся друг к другу, с опаской и любопытством рассматривают советских воинов.

Тихонов допрашивает японского поручика. Переводит Власов: пока стояли на границе в Забайкалье, он изучил японский язык.

— Не остались ли в кустарнике раненые японские солдаты? Не требуется ли им оказать медицинскую помощь? — спрашивает Тихонов.

Поручик кланяется, старается даже улыбнуться, но страх еще не покинул его, и вместо улыбки на желтом, скуластом лице появляется отвратительная гримаса.

— Не беспокойтесь, господин майор. Раненые японские солдаты не живут. Если ваше высокоблагородие позволит, то разрешите захоронить убитых.

— Сколько их?

— Свыше тридцати.

— Точнее.

— Тридцать девять.

Тихонов, Буткин и Власов понимающе переглядываются. Наивная хитрость японца вызывает усмешку, но они прячут ее.

Тихонов строго спрашивает:

— Что представляет собой подразделение, сдавшееся нам в плен?

— Остатки стрелкового полка императорской дивизии, разбитой советскими войсками в первом же бою.

— Имеются ли у вас склады оружия?

— Никак нет.

— Что известно вам о складах оружия под домом княгини?

— Оружие принадлежит разведывательной службе штаба Квантунской армии.

— Налет во время грозы и зверское убийство двух наших солдат совершено вами?

Поручик опускает голову и молчит.

В полдень прибывают машины трофейного отдела и комендантский взвод для сопровождения пленных в тыл. Тихонов сдает захваченное имущество и оружие, а также пленных.

После обеда батальон продолжает марш на восток.

## 8

Чем ближе к Хингану, тем богаче и краше убор степи. Изредка выпадают места чисто русские: извилистые, все в крутых петлях, речки с глубокими прозрачными омутами, в которые, как в зеркала, смотрятся с высоты небес августовские кудрявые облака. В зарослях по берегам щебечут взахлеб пичуги, густыми низкими голосами поют шмели, попискивают у своих гнездовищ полевые мыши. В заболоченных лощинах буйно вздымается не покорная никаким ветрам осока.

Взглянешь на такое место, и почудится тебе, что идешь ты по полям Подмосковья или Приволжья или по просторам Урала и Сибири. И от одного воспоминания о Родине станет на душе так радостно, что впору песни запевать. И песни поют.

В третьей роте чаще других слышится звонкий тенорок Прокофия Подкорытова:

Много верст в походах пройдено
По земле и по воде,
Но Советской нашей Родины
Не забыли мы нигде.

Подкорытов поет по-своему: не торопится, не выкрикивает отдельных слов, наиболее приглянувшиеся места повторяет по два, по три раза. Мелодии известных песен он варьирует на свой лад, и они всегда звучат свежо и ново.

Песен Подкорытов знает — не переслушать! Когда он поет, все молчат, думают; словно не песню, а самую затаенную, самую сокровенную мечту своей души выговаривает он в эти минуты дорогим, близким людям.

Подкорытов поет, прищурив глаза, с задумчивым видом, и кажется, что вместе с песней он уносится в такую высь, с которой видны все дороги жизни.

— Ах, как поешь ты, Прокофий! — говорит Соколков, когда Подкорытов берется за кисет. — Вот ведь и Шлёнкин петь мастер, а только его пение не берет так сильно за сердце, как твое.

— Шлёнкин для забавы поет, Прокофий — для раздумья, — выражает свое мнение кто-то из солдат.

Подкорытов молчит, словно разговор не о нем.

— Без песни, Витя, жить мне никак невозможно, — наконец произносит Подкорытов. — Сам посуди. Уйдешь, бывало, в тайгу на месяц, на два, живешь где-нибудь в лесной трущобе. Один в лесном океане! Там без песни онеметь можно. Скука, братище, без людей свирепая! А песню запоешь, будто и с женой наговоришься, и товарищей повидаешь...

Подкорытов молчит с полминуты, потом, сверкнув веселыми глазами, в приливе простодушной искренности говорит:

— Ты хочешь знать, Витя, почему я сейчас пел? С женой, с Настенькой, в думах я разговаривал. Женился я на ней совсем молоденьким. Мне минул двадцатый, а ей еще девятнадцати не было. «Ну, у этих житья не будет. Придут в разум — и окажется, что характерами не сошлись», — говорили люди. Да не вышло по-ихнему! Десять лет вот прожили, и ни разу еще по-настоящему не поссорились.

— Так из десяти-то лет надо на войну вычесть, — замечает кто-то из бойцов.

— Это почему же? — возражает Подкорытов. — Живем поврозь, а друг другу еще больше обязаны. В разлуке жить куда труднее.

— Ну, а такой мысли нет, Проня: пока ты тут землю ногами меряешь, она, твоя Настенька, там с каким-нибудь тыловичком того-сего разводит? — спрашивает сержант Коноплев.

— Нет, товарищ сержант, такой мысли! Характер у нее не тот. Знаю, как себя.

Подкорытов произносит это убежденно, горячо, и у сержанта Коноплева пропадает охота высказывать сомнения дальше.

— Да, братки, великое это счастье — хорошая жена,— говорит он задумчиво.

— При хорошей бабе, товарищ сержант, жизнь наполовину краше, — вступает в разговор пожилой боец Остап Тарасюк.

Тарасюк рассказывает о своей жене Полине. Его рассказ состоит почти из одних восклицаний: «А какую, братки, она в колхозе свеклу выращивает! А какой она борщ умеет варить! А уж какая она мать заботливая — вовремя накормит, выстирает, сошьет!»

Тарасюк не успевает еще закончить свое повествование о Полине, — слышится голос Емельяна Куделькина:

— А моя-то, Аграфена Петровна, как ушли мужики на войну, взяла в колхозе вожжи в свои руки и, смотри ты, четвертый год в районе впереди всех колхоз наш ведет... — Голос Куделькина звучит то нежно, то гордо.

Атмосфера предельной откровенности, с какой ведется разговор, подчиняет себе одного, другого, третьего. Соколков долго борется сам с собой. Ему тоже хочется сказать что-нибудь о Наташе, но она ведь не жена ему, они пока просто друзья. Преодолевая стыдливость, он говорит, нарочито покашливая:

— Кхе! Моя знакомая девушка, кхе, Наташа, сразу за два курса в университете сдавала...

Солдаты выражают свое удивление вслух. После Вити холостяки смелеют — говорят и говорят без умолку. Они называют имена своих любимых с той доверчивостью, которая бывает только среди людей, близких друг другу.

## 9

В разговоре не принимает участия только Шлёнкин. Больше того, он хмурится от этого разговора. Он бы и сам сказал о своей любимой теплые слова, но это такая тайна, которую он доверил лишь Вите Соколкову.

Шлёнкин любит врача батальона, капитана медицинской службы Екатерину Тарасенко. Любит давно, с момента ранения на границе, которое нанес ему шпион Соловей.

Больше месяца пролежал тогда Шлёнкин в батальонном околотке. Рана оказалась не опасной, отправлять его в армейский госпиталь за сорок километров не было никакой надобности. Тарасенко уговорила Тихонова оставить

раненого в батальоне и всецело положиться на ее знания и опыт.

Каждый день по нескольку раз появлялась она в околотке — всегда веселая, бодрая. Вместе с ней в землянку врывался запах хороших духов. Она внимательно осматривала рану Шлёнкина, расспрашивала о самочувствии, выписывала лекарства, давала различные наставления.

Шлёнкин видел, что после той вьюжной ночи он вырос в глазах окружающих. Не скрывала своего уважения к нему и Тарасенко. Она не раз вспоминала финскую войну, и всегда это звучало так: вот какие люди воевали с белофиннами, они тоже, как и ты, не думали о себе — Родина и воинская честь были для них превыше всего.

Шлёнкину почему-то было и стыдно и приятно от рассказов врача. «Что уж такого особого сделал я? — размышлял он. — Соловей полез с ножом, я его по башке раз-другой трахнул, потом за сигнальную проволоку ногой дернул, тревогу поднял. Доведись до любого, то же самое сделал бы».

Но Тарасенко словно говорила ему: «Что сделал бы на твоем месте другой — неизвестно. А ты вот шпиона задержал, кровь свою пролил. Значит, можешь ты постоять за святое дело. Можешь!»

И это будто оковы снимало с его души. «Можешь ты, можешь!» — трепетала в нем каждая жилка, и он чувствовал, как всем своим существом тянется к новым, трудным делам и подвигам.

Когда лечение приближалось к концу, Шлёнкин почувствовал, что ему невыносимо стыдно обнажать свое тело перед врачом. Это пришло неожиданно и очень встревожило его.

Шлёнкин прятал свое чувство, старался по-прежнему быть с врачом немногословным, сдержанным, как положено по уставу.

После разгрома немцев на Курско-Орловской дуге японцы стали вести себя менее назойливо. Правда, японские авиационные разведчики по-прежнему довольно часто пересекали советскую границу. Ловили наши пограничники и диверсантов, но выводить свои части на границу и бряцать оружием на глазах советских воинов японцы опасались.

Батальон Тихонова большее время жил тогда в пади Ченчальтюй. Солдаты и офицеры напряженно учились.

С заводов поступало новое оружие. Фронтовой опыт день ото дня становился богаче. Чтобы не отстать от требований войны, надо было работать, не щадя сил и времени.

Днем на стрельбищах и плацах царило большое оживление. Вечером люди стремились в клуб. Драматический кружок репетировал то одну пьесу, то другую.

Шлёнкин виделся с Тарасенко ежедневно, но о своих чувствах молчал, хотя молчать становилось все тяжелее и тяжелее.

Зимой сорок третьего года драмкружок выехал в Читу на смотр красноармейской художественной самодеятельности. В Чите прожили пять дней. После долгого пребывания в сопках Чита поразила Шлёнкина многолюдием и яркостью электрического света, заливавшего просторные залы окружного Дома Красной Армии.

Шлёнкин будто окунулся в какой-то волшебный мир, о котором раньше приходилось только читать в книгах: сцена, любимая, народ, аплодисменты. Нет, дальше молчать он был не в силах...

Тарасенко выслушала его сбивчивое признание совершенно спокойно. Можно было подумать, что такие признания ей доводилось слушать каждый день.

— Ну к чему все это, Терентий Иванович?! Полюбить меня там, в сопках, ей-богу не трудно. Я одна у вас, и не мудрено, что кажусь совершенством. Неподходящее место и неподходящее время выбрали вы для любви... — В тоне ее была добродушная усмешка друга и суровая назидательность старшего.

— Вы единственная... — начал было Шлёнкин.

Тарасенко замахала руками:

— Нет, нет, таких слов не слушаю! И вообще, давайте перенесем наш разговор на более поздний срок. Пусть он состоится через год после войны. Мир многое изменит...

— Через год после войны? Пусть будет по-вашему! — прошептал Шлёнкин, уничтоженный и одновременно окрыленный.

Больше о любви они не говорили. Тарасенко оставалась по-прежнему приветливой, внимательной, словно и не было между ними этого необычного разговора.

...Беседа солдат о женах и любимых прерывается внезапной командой:

— Привал на саносмотр!

Шлёнкина передергивает от этой команды. «Батюшки,

только бы не она», — проносится у него в мыслях. Но Тарасенко уже приближается к роте. Вместе с ней идут фельдшер и два санитара. «Хоть бы фельдшеру осмотр поручила», — думает Шлёнкин.

Тарасенко идет быстрой, стремительной походкой. На плече у нее матерчатая зеленая сумка с красным крестом. Русые волнистые волосы выбились из-под фуражки, рассыпались на плечи. Лицо, руки, шея загорели, и потому серые с синим отливом глаза кажутся ярче и больше обычного. Стремительность походки придает ее маленькой стройной фигуре черты постоянного порыва вперед.

Начиная с 22 июля, когда батальон снялся с пади Ченчальтюй и начал свой небывалый марш по степям Монголии и Китая, Тарасенко живет в неусыпных хлопотах. Первая ее забота — сберечь ноги бойцов. Ноги для солдата пехоты — это все равно что крылья для птицы. Вторая забота — уберечь людей от тепловых ударов, не допустить желудочных болезней.

Через день-два врач, пользуясь привалами на отдых, осматривает ноги у солдат, расспрашивает их о здоровье.

Желание Шлёнкина не сбывается. Не фельдшер, а сама Тарасенко входит в круг бойцов третьей роты. Шлёнкин смотрит на нее застенчивым, влюбленным взглядом. Девушка здоровается с ротой, обводит солдат глазами, словно ищет кого-то. Увидев Шлёнкина, она кивает ему и чуть улыбается.

— Прошу, товарищи, снять обувь и рубашки.

Тарасенко никогда не приказывает, но бойцы знают, что просьбы врача равнозначны приказу.

— Вчера ведь только, товарищ капитан, осматривали,— говорит один солдат, распутывая сбившиеся обмотки.

— Смотрите у меня: если будете пить воду из каждого ручейка — на каждом привале буду осмотры производить, — говорит Тарасенко и смеется.

— Тогда батальон, товарищ капитан, в месяц до Хингана не дойдет, — отшучиваются бойцы.

— Опять вы неправильно портянку навернули. Видите, какая на пятке краснота образовалась.

Тарасенко подзывает санитара, поручает ему показать солдату, как нужно навертывать на ногу портянку. Через минуту ее голос слышится в другом месте.

— Ремень у винтовки вам надо подтянуть. Иначе на плече потертость появится.

Шлёнкин снял ботинки, гимнастерку и рубашку, сидит в тоскливом ожидании. Ремни от винтовки и вещевого мешка отпечатались на его мясистых плечах. На ногах, натруженных ходьбой, вздулись жилы. Ступня и пятки задубели, пыль пробилась сквозь ботинки и обмотки и въелась в кожу.

— А, черт, хоть бы помыть эти коряги, — озлобленно шепчет Шлёнкин, косясь на свои оголенные ноги.

— Да ничего, Терёша, ты же не Аполлон Бельведерский в музее, а солдат пехоты на войне, — успокаивает Соколков друга.

— Неудобно, если б не она... — морщится Шлёнкин.

Соколкову так и хочется подшутить над Шлёнкиным, но он замечает, что тому не до шуток. Шлёнкин корчится, подтягивает ноги под себя, концом портянки поспешно протирает грязные пальцы. Тарасенко приближается, ее голос слышится совсем рядом. Она осматривает Соколкова. Тот о чем-то разговаривает с ней весело и громко. Они оба смеются. Шлёнкин почти не улавливает их разговор. Поведение Соколкова кажется ему по крайней мере странным. Как можно в таком виде о чем-нибудь разговаривать с врачом, да еще так весело?

Шлёнкин не успевает ответить сам себе на этот вопрос. Он вздрагивает от прикосновения к плечу прохладных пальцев врача.

— Ну-ка, Шлёнкин, покажите лямки своего вещевого мешка, — говорит Тарасенко. Шлёнкин покорно подает вещевой мешок. Тарасенко ощупывает лямки пальцами.

— Да разве можно так, товарищ Шлёнкин? Вы смотрите: широкие, удобные лямки у вас свернулись в жгуты, вы же натрете ими плечи! Сейчас же расправьте лямки...

Тарасенко произносит все это строго, требовательно. Но вдруг голос ее становится глуше, в нем слышатся другие, теплые ноты:

— Ну, как самочувствие, Терентий Иванович?

— Самочувствие? Отличное самочувствие. Безлюдие осточертело. Скорее бы перемахнуть Хинган.

— Теперь уже недалеко... А желудок не беспокоит? Воды из речек много пьете?

— Все в порядке, товарищ капитан, — поспешно отвечает Шлёнкин. Он облегченно вздыхает, полагая, что осмотр закончен. Но Тарасенко опускается на колени.

— Дайте посмотреть ноги.

Шлёнкин немеет. Он молча вытягивает ноги и стыдливо опускает глаза. Девушка умелыми, быстрыми движениями рук ощупывает икры. Ему кажется, что она осматривает его ноги не секунды, а долгие часы — осмотр изнуряет его. Врач встает.

«Как хорошо, что они прошли там, в Забайкалье, суровую школу. Без подготовки не выдержать бы им этого перехода», — думает Тарасенко, но говорит совсем о другом.

— Вы знаете, Терентий Иванович, сегодня утром, даже сама не знаю почему, мне вспомнилась оперетта «Корневильские колокола». Я шла и беспрерывно напевала себе под нос. Одно место никак не могла припомнить. Вы наверняка его хорошо знаете...

Упоминание об оперетте словно вырывает Шлёнкина из-под власти кошмарного сна. Трепетное ощущение любви поднимается в его душе. От прежнего смущения, заставляющего цепенеть все члены, не остается и следа. Шлёнкин преображается на глазах всей роты.

— Как же не помнить «Корневильских колоколов»! — говорит он, слегка играя своим бархатистым баском. — Это же, товарищ капитан, не оперетта, а прелесть. Выше ее я ставлю только «Сильву». А место, о котором вы говорите, я помню великолепно...

— Ну, спойте мне, пожалуйста, — просит Тарасенко. Шлёнкин с готовностью откашливается, вполголоса поет. Девушка, улыбаясь, смотрит на него, шевелит губами, стараясь запомнить мелодию.

Они вспоминают известных певцов страны, говорят о лучших спектаклях. Шлёнкин попыхивает своей неизменной трубкой с профилем Мефистофеля. Но Тарасенко вынуждена прервать разговор — ее ждут в других ротах.

Она уходит. Шлёнкин провожает ее долгим, неотрывным взглядом. Глаза его сияют, ему хочется совершить что-нибудь такое хорошее, такое геройское, чтобы поняла она, какая сила пробудилась в его душе. «Бои, что ли, скорее начинались бы!»

— А любит она тебя, Терёша, — шепчет Соколков, выждав, когда Тарасенко отошла подальше.

— Ты думаешь? — горячо спрашивает Шлёнкин, и в глазах его вспыхивает беспокойный огонек.

— Убежден. Если бы не любила, другие бы речи вела с тобой.

Шлёнкин долго молчит. Молчит и Соколков.

— Эх, Витя, — говорит Шлёнкин, — ничего ты, брат, не знаешь...

Он охвачен таким порывом, что готов гору свернуть.

— Да уж с твое-то, наверное, знаю, — чуть обиженно говорит Соколков. — А только счастлив ты. Завидно даже. До Наташи-то посчитай — сколько километров.

— Ну, брат, неизвестно еще, до кого дальше,— задумчиво глядя куда-то в степь, говорит Шлёнкин, вспоминая Читу и свои объяснения с Тарасенко.

## 10

Большой Хинганский хребет — это скопище голых скал, громоздящихся в чудовищном беспорядке.

У подножия этих скал обрываются звериные тропы. Цепкая степная трава, расселившаяся на тысячах километров сухой земли, отступает перед неподатливостью каменных глыб. Только дождь да ветер оставили на них свои отметины: ветер отполировал бока, дождь продолбил узкие канавки для стока. Даже страшно подумать, сколько времени потребовалось дождю и ветру на эту работу — миллионы лет!

Большой Хинганский хребет окутан туманом. Туман ползет из ущелий непрерывным потоком, как дым из кратера непотухшего вулкана.

Местами хребет так высок, что вершины его скрываются в тучах, которые лежат неподвижными распластанными телами, словно прикованы навечно тяжелой цепью.

Выше этих туч поднимаются только орлы. Остальная птичья братия, силой и характером послабее, гуртуется по впадинам и ущельям.

Большой Хинганский хребет — это особое царство на земле — царство камней, ветров и дождей.

На подступах к Хингану батальон Тихонова сворачивает километров на двадцать к северу, вливается в поток войск, группирующихся для прыжка через Хинган.

Впереди движутся саперы. Японцы минировали проходы через перевалы, завалили расщелины, по которым можно проложить дорогу, ворохами битого камня.

Саперы шаг за шагом прокладывают путь. Воздух содрогается от взрывов: там, где бессильны лопата и лом, помогает взрывчатка. Она разносит на мелкие частицы

могучие скалы, заваливает землей и щебнем глубокие ямы, пробивает новые проходы через неподступные перевалы.

По приказу командующего армией батальон Тихонова движется в одной колонне с артиллерийским полком из резерва Главного Командования. У артиллеристов тягачи, грузовики, легковушки самых различных марок. Но командующий знает: на Хингане не один раз придется перетаскивать и оружие и машины на руках. Без помощи пехоты не обойдешься...

Предвидения командующего вскоре сбываются. Чем глубже войска вползают в скопища Хинганских гор, тем круче становятся перевалы.

Во второй половине дня начинаются первые серьезные испытания. Проложенная только что саперами дорога скачет на одну скалу, потом на другую, на третью. Моторы ревут, как стадо взбесившихся быков. Автомашины едва доползают до середины первой скалы, сдают назад.

Тихонов шутит над артиллеристами. Его лошади и волы, на которых передвигается имущество, продовольствие и боеприпасы батальона, тяжело поводя боками, стоят уже на вершине скалы.

Пока артиллеристы обходятся без помощи пехотинцев и своими силами втаскивают автомобили, пушки и тягачи на крутой подъем. Солдаты еще не утомлены, форсирование гор им в новинку. Они тащат машины на веревках, весело ухая, задорно покрикивая, пересыпая говорок крепким словцом.

Восхождение на вторую скалу несравненно труднее. Теперь не шутит и Тихонов. Лошади скользят по камню, встают на колени, волы дико хрипят, ложатся на бок. Постромки у повозок рвутся, не выдерживая тяжести.

Комбат приказывает распрячь лошадей и волов. Их втаскивают на вершину скалы на веревках. Затем люди впрягаются в повозки и на себе завозят их.

К вечеру объединенная колонна пехотинцев и артиллеристов поднимается на четыре ступени, но хребет еще не заканчивается, впереди виднеются новые скалы.

Солдаты и офицеры утомлены, искоса посматривают на ребристые горы, окутанные туманом...

Тихонов, Буткин и Власов подводят итоги дня: пройдено семь километров! По данным карт, скоро должна на-

чаться долина, но немало еще потребуется трудов, чтобы дойти до нее.

Завтра батальон будет действовать увереннее и осмотрительнее. Сегодня люди работали горячо, но не соблюдалось правильное чередование рот на подъеме больших тяжестей.

В разгар беседы появляется Петухов. Он только что побывал в ротах. Радостные известия: семь лучших солдат подали заявления о вступлении в партию, среди них Прокофий Подкорытов, Викториан Соколков...

Петухов предлагает созвать закрытое партийное собрание. Минут через десять коммунисты небольшими группами тянутся к дальнему обрыву скалы, где их уже поджидает Петухов.

Начинает смеркаться. Сумрак ползет из ущелий, поднимается к вершинам скал, окутывает их. Высокое голубое небо темнеет, робким, неярким светом загораются первые звезды.

У солдат и офицеров уставшие лица и медленные движения. Дорого им стоили семь километров, пройденные сегодня. Они тяжело опускаются на землю, садятся, стараясь опереться на камни. Петухов низко склонился над листом бумаги, торопливо пишет. Буткин сидит неподалеку от него, молча смотрит на коммунистов, думает.

Осенью тысяча девятьсот сорок первого года он прибыл в падь Ченчальтюй. Во всем батальоне было тридцать три коммуниста. Теперь на партийное собрание явилось сто два человека. Каждого из них Буткин знает так, словно рос вместе. Многим он давал рекомендации. А скольким он помог разобраться в простых и сложных вопросах!

Мелькают лица: сержант Коноплев, ефрейтор Остап Тарасюк, солдат Назир Кукенбаев, солдат Куделькин, ординарец комбата Трубка... Все они уже не те, что были два-три года назад.

Партия! Где только не видел твоих сынов Буткин! В глухой сибирской тайге, на лесах стройки Кузнецкого завода, в самом водовороте деревенской жизни лицом к лицу с озверелым кулачьем, во главе колхозов, перекроивших весь уклад сельского быта, в траншеях на самой границе и вот — на Хингане! На Хингане!

Волнующие чувства бесконечного преклонения перед партией захватывают Буткина. У него першит в горле. Он спохватывается, думает о себе, как о постороннем: «Ну

вот и растрогался ты, Петр Петрович! Стареешь, брат... А почему бы и не растрогаться тебе? Что в этом плохого? Вспомни-ка девятнадцатый год. На три тысячи партизан было пять коммунистов. А теперь? Как же выросли и поднялись наши люди!»

Его размышления прерывает Петухов. Он открывает собрание. Петухов любит говорить. И сейчас он не упускает этой возможности. Он напоминает коммунистам, в какие дни живут они, потом говорит о большом значении партийного собрания, созванного в скалах Хинганского хребта.

Петухова обуревают те же чувства, что и Петра Петровича Буткина. Он увлекается своей речью, его мысли созвучны мыслям Буткина, но замполит недоволен парторгом. Люди устали, многие из них дремлют. До речей ли тут? Наконец Петухов заканчивает. Собрание избирает президиум. Буткин, пользуясь правами председателя, старается придать собранию деловой тон.

Первый вопрос на повестке: прием в партию. Один за другим поднимаются солдаты и сержанты, рассказывают свои биографии, отвечают на вопросы товарищей.

Становится совсем темно. Секретарь ведет протокол при свете карманного фонарика. Буткин вглядывается в лица, но рассмотреть их не может. Только по тому, как оживленно люди отзываются на его реплики, он чувствует, что они живут интересами собрания.

Выступающие говорят кратко и без лишних слов.

— Знаю Подкорытова с первого дня службы. Хороший, передовой солдат, учился военному делу в Забайкалье, не щадя сил. В походе проявил себя стойким и дисциплинированным воином, помогал товарищам, вполне может быть коммунистом.

— Соколков боевой солдат. Отлично нес службу в Забайкалье. В походе не знает устали. Всегда бодрый, уверенный. Достоин быть в рядах партии.

Затем собрание слушает доклад Петухова о плане партийно-политической работы на время перехода через Хинган. Тут предусмотрено все. Предусмотрены не только собрания и инструктивные совещания агитаторов, намечены даже две лекции.

— А что же, для лекций специальные остановки будут, товарищ парторг? — спрашивает кто-то, не скрывая иронии в тоне голоса: нашли, дескать, время для лекций.

Отвечает Буткин.

— Никаких специальных остановок для лекций не потребуется, товарищи. Лекции мы будем слушать на ходу, как только выйдем в долины. В самом деле, слушаем же мы всякие побасенки во время движения, почему бы нам не использовать эту возможность для более полезного дела?

Это так просто и так убедительно, что возражать немыслимо.

— Хорошо придумано, надо было раньше сделать это. Сколько бы лекций прослушали, — говорит кто-то с упреком.

— Ну, а японец позволит нам лекциями заниматься? — слышится чей-то голос.

Вдруг раздается стрельба. Секретарь собрания — старшина Петрунин, ойкнув, падает замертво. В неживой, крепко стиснутой руке поблескивает лучик непогасшего карманного фонарика.

Пули свистят возле Буткина. Укрыться ему от пуль проще, чем кому-либо другому. Стоит опуститься на колени, и он скрыт за громадным клыкастым камнем. Но первая мысль Буткина не о себе. «Надо загасить фонарик, свет демаскирует нас». До Петрунина от него не меньше пяти метров. Буткин вскакивает и бросается к погибшему. Кто-то сильно ударяет его по руке выше локтя. В первую секунду он не замечает, что ранен. Схватив фонарик, он разбивает его о камень и только теперь чувствует страшную боль в руке.

— Коммунисты, по местам! — сквозь трескотню выстрелов слышится голос комбата.

## 11

Через минуту Тихонов отдает приказ командирам рот. Егорову выпадает чуть ли не самая трудная задача: разбить роту на мелкие группы и броситься в горы. Японцы наверняка действуют рассредоточенно. Нужно отыскивать их, преследовать, уничтожать, дать им почувствовать, что нападения исподтишка им не обойдутся даром.

Подкорытов, Шлёнкин и Соколков оказываются в одной группе. Старшим командир взвода назначил Подкорытова.

Солдаты ползут на четвереньках, цепляются за выступы скал. Стрельба не затихает совсем, но паузы между очередями становятся более продолжительными.

Впереди ползет Подкорытов, за ним — Шлёнкин, последним — Соколков. В одном месте Подкорытов срывается с выступа. Котелок его ударяется о камни и гремит. Японцы мгновенно прекращают стрельбу. «Услышали»,— отмечают про себя солдаты и припадают к земле. Но, по-видимому, это совпадение. Японские пулеметы и автоматы строчат один за другим, эхо разносится по ущельям и грохочет и воет там, как штормовое море.

Подкорытов поднимает голову, машет рукой: вперед! Но ни Шлёнкин, ни Соколков его руки не видят — тьма непроглядная. Подкорытов прищелкивает языком раз, другой. И хотя между ними не было уговора насчет того, что значит этот сигнал, Шлёнкин и Соколков догадываются, что от них требует Подкорытов. Они ползут дальше, натыкаются на острые ребра скал, цепляются за них, лезут вверх.

Вдруг Соколков срывается, с шумом летит со скалы к подножию. Благо, что эхо покрывает все звуки, вызываемые его падением.

Закусив губы, он сдерживает стон, рвущийся из груди. Подкорытов и Шлёнкин опускаются вниз к Соколкову на помощь. Тот лежит, поскрипывая зубами от досады и боли.

— Колено расшиб, — сообщает он, когда товарищи склоняются над ним.

— Оставайся тут. Мы пойдем вдвоем, — говорит Подкорытов.

Соколков стонет теперь не столько от боли: невыносимо тяжко отставать от товарищей.

— Ты полежи тут, а я потом за тобой приду, — понимая друга, говорит Шлёнкин.

— Ну, ползите, ползите. Я, гляди, отлежусь, — стонущим голосом произносит Соколков и, поймав в темноте большую, шершавую руку Подкорытова, жмет ее насколько хватает сил. — Желаю удачи!

Он долго лежит прислушиваясь. Когда стрельба затихает, он отчетливо слышит, как погромыхивают котелки на спинах товарищей, как поскрипывают ремни их снаряжения, как стучат о камни каблуки их ботинок с крепкими подковами на четырех шурупах. Чувство острого

беспокойства за товарищей охватывает его. «Тише же надо! Но почему они так?» Ему хочется крикнуть товарищам, чтоб передвигались они осторожно, японцы могут обнаружить их по звукам, но стрельба разгорается с новой силой, и Соколков опускает голову на камень.

Страх, ощущение обреченности поднимаются в душе Соколкова. «Задушат меня тут японцы, и знать о моей смерти никто не будет», — горько думает он.

Соколков встает, намереваясь броситься за Подкорытовым и Шлёнкиным, но сильная боль опрокидывает его наземь. Поняв, что его желание догнать товарищей пока неисполнимо, он смиряется со своей долей.

Горькие мысли постепенно покидают его. «Ну, впрочем, задушить меня не так-то просто. У меня винтовка, гранаты. Живой я им все равно не дамся». Эти размышления ободряют его, он ощупывает затвор винтовки, срывает с ремня две гранаты.

Соколков долго лежит не двигаясь. На небе начинают проглядывать звезды. Месяц утонул в облаках, нет-нет выглянет из-за них и скроется вновь. Кажется, что он барахтается в облаках, как серебристый язь, запутавшийся в сетях.

Стрельба, сосредоточившаяся вначале в одном месте, слышится теперь то там, то здесь. Вскоре начинают стрелять неподалеку от Соколкова. «Прокофий с Терёшей вступили в дело», — догадывается Соколков, и ему становится обидно за свою неудачу. Он вспоминает все, что говорилось о нем час назад на партийном собрании. Егоров, Петухов, Буткин, командир отделения сержант Коноплёв — все они отмечали его положительные качества. Собрание единогласно приняло его в ряды партии. Какое это доверие и какое счастье быть коммунистом!

Он словно на крыльях бросился в бой, в горы, и вот... лежи, жди, когда утихнет боль в ноге. «И как это я сорвался? Надо же было этому случиться ни раньше, ни позже, а именно сегодня. Что скажет Егоров? Может еще подумать, что я струсил...» — все больше и больше терзается Соколков.

Провожая их в горы, Егоров сказал ему и Подкорытову:

— Ну, молодые коммунисты, надеюсь на вас.

Соколков теряет ощущение времени. Сколько он тут: час? два? А может быть, уже полночь или близится рас-

свет? Стрельба в горах то вовсе затихает, то разражается короткими, стремительными вспышками.

Камни, на которых лежит Соколков, становятся холодными и скользкими. Туман, должно быть, опустился на скалы, покрыл их сыростью. Гимнастерка и брюки Соколкова становятся влажными, и дрожь пронизывает его насквозь.

Он поднимается, чтоб снять с плеча скатку и развернуть шинель. Боль в ноге затихает, но встать на нее он еще не может.

Вдруг неподалеку от него падает камень. Соколков снимает руку со скатки и быстро ложится на прежнее место. Над ним в темноте испуганно мечется какая-то птица. Кто же вспугнул ее? Подкорытов и Шлёнкин? Японцы? Ночной хищник?

Соколков прислушивается. От тишины звенит в ушах. «Должно быть, зверек вспугнул птицу», — думает он. Но опять где-то обрывается камень и катится со скалы, постукивая на выступах.

Вскоре Соколков настороженным ухом улавливает новые звуки: хруст, шарканье. Кто-то идет. Это, вероятно, Шлёнкин. Он ведь обещал прийти помочь выбраться к батальону. Но все стихает, и Соколков лежит, обеспокоенно думая: «Неужели прошел мимо?» Он решает крикнуть, но вовремя спохватывается — на голос могут прийти не только свои, но и японцы.

Месяц наконец пробивается сквозь облака и выплывает на чистое небо. В горах становится светлее. Соколков осматривает очертания скал. Они похожи на замки большого нерусского города.

«Удлиненная форма строений характерна для готического стиля», — вспоминает он фразу, вычитанную где-то в книге или услышанную когда-то давным-давно на лекции.

Рассматривая очертания гор, он успевает подумать о многом: университет, Наташа, мама с братишками и папа... Он умчался куда-то на запад страны восстанавливать разрушенные гитлеровскими извергами наши заводы.

Соколков видит, как на скале неподалеку от него вырастает силуэт человека. «Терёша, пришел все-таки!» Он уже взмахивает рукой, собираясь крикнуть, но видит, что на скале сразу появляются еще три силуэта. «Кто это?

Наши или японцы?» — напрягая глаза, думает он, а сердце бьется все громче и громче.

Люди начинают говорить. Они говорят тихими гортанными голосами. Японцы! Соколков чувствует, как тело его охватывает озноб, а потом жар. Во рту становится сухо. Он прижимается к выступу скалы, прислушивается. Но ни единого слова невозможно понять в этом тарабарском языке! «И отчего я их языку в пади Ченчальтюй вместе с Власовым не попробовал учиться», — упрекает себя Соколков.

«Что же мне делать с вами? Трахну гранатой», — решает он. На душе его наступает спокойствие и ясность, руки перестают дрожать. Он забывает о боли в ноге и ползет, ползет ближе к японцам. Потом берет гранату, нащупывает на ней предохранитель. «Их же много, они окружат тебя, и тогда пропал... Ты лежи себе, пусть они пройдут восвояси», — словно кто-то нашептывает ему.

«Трус ты! Трус!» — кричит он сам себе и чувствует, как эти слова рождают в нем боевую страсть. Он умелым, натренированным движением руки спускает предохранитель и бросает гранату в японцев.

Раздается взрыв. Сотни крупных и мелких осколков от камней взлетают вверх и тяжелым градом обрушиваются на Соколкова. Один японец кричит истошным голосом, остальные молчат. Соколков бросает еще одну гранату. Теперь смолкает крик. Град камней обрушивается с новой силой на Соколкова. Он в изнеможении опускает голову, открывает рот и лижет горячим языком влажный, обточенный ветром голый валун.

Над Хинганом занимается заря...

## 12

Подкорытов и Шлёнкин поднимаются на скалу и, присмотревшись, устанавливают, что совсем неподалеку от них строчит японский пулемет.

— Надо обойти самураев и уничтожить, — говорит Подкорытов. Начинается трудный, опасный для жизни спуск с крутой скалы. Шлёнкин несколько раз срывается, но, к счастью, падает удачно на гладкие, как асфальтовые ступеньки, выступы.

Подкорытов движется почти бесшумно. Он опытен, ловок, и горы для него — дело испытанное. Он все время подсказывает Шлёнкину, оберегает его: «Не скатись, Терентий! Держись вправо! Давай руку! Назад — тут пропасть!»

— Ну и глаза у тебя, Прокофий! Кошачьи! — восхищается Шлёнкин и думает: «С настоящим товарищем попал. Какой человек!»

Местами они идут по ровным площадкам, будто выстланным специально. В эти минуты Шлёнкин размышляет о себе.

Ему и страшно, и в то же время он чувствует себя приподнято, чуть ли не торжественно.

До странности удивительно, что это он, Терентий Шлёнкин, тот самый Шлёнкин, который разъезжал с ревизиями по заготовительным конторам и лавкам и боялся выпить стакан сырой воды, ныне идет навстречу опасности, может быть даже смерти. И идет не просто по приказу, а влекомый собственным сердцем.

«Душу другую, что ли, вставили мне... Падь Ченчальтюй... Она научила... Егоров... Тихонов... Витя Соколков... Друг... Большой друг...»

В его сознании мелькают лица товарищей и сослуживцев. Их бесконечная вереница, почти весь батальон.

— Ну как, Прокофий, приняли тебя в партию, нет? — спрашивает шепотом Шлёнкин, когда Подкорытов оказывается с ним плечом к плечу.

— А как же. Сам комбат высказался, — в голосе Подкорытова нескрываемая гордость.

— А ты не замышляешь, Терентий, насчет вступления в партию? — осведомляется Подкорытов.

— Замышляю, да вот не знаю, смогу ли быть коммунистом, — говорит Шлёнкин.

Подкорытов молчит. Ему понятны сомнения Шлёнкина. И он не сразу пришел к решению о вступлении в партию. В долгие часы раздумий он с пристрастием спрашивал себя: а по силам ли тебе это ответственное звание? А сможешь ли ты быть всюду впереди и не щадить сил, а когда надо — и жизнь в борьбе за дело коммунизма?

Они подходят, точнее подползают, к огромной скале, с вершины которой японцы ведут огонь.

— Сворачиваем налево, — распоряжается Подкорытов вполголоса.

— А справа не лучше? — нерешительно выражает свое сомнение Шлёнкин, видя, что до скалы здесь гораздо ближе.

— Запомни, голова: северные ветры и дожди острее, и с северной стороны всегда бывает больше выступов, — говорит Подкорытов.

Откуда же знать Шлёнкину эти премудрости? Чтоб знать такое, надо провести жизнь в горах.

— Веди, — произносит он и ползет за Подкорытовым, часто натыкаясь в темноте на каблуки его ботинок.

Действительно, выступов у скалы на этой стороне оказывается много. Подкорытов и Шлёнкин местами поднимаются вверх, как по лестнице. Японский пулемет бьет короткими очередями. Как губителен для наших его огонь! Подкорытов знает, что пулемет посылает поток пуль в расположение бивака. Возможно, что там есть уже убитые и раненые. Надо во что бы то ни стало подавить японскую огневую точку. И потому быстрее — вперед!

Шлёнкину приходится напрягать все силы, чтобы не отстать от Подкорытова. Он расцарапал до крови руки, рассек, наскочив на острие камня, нижнюю губу, брюки его изодраны в клочья, глаза застилает пот, но Шлёнкин не сдается.

Японский пулемет выпускает длинную очередь — не меньше половины ленты — и замолкает.

Подкорытов делает прыжок куда-то в темноту. Шлёнкин на минуту теряет его из виду. Он торопится, старается нагнать Подкорытова — без него он как слепой без поводыря.

Подкорытов шарит по земле, ругается с вывертами и присказками, как только он один умеет в батальоне.

— Ушли! Куда они ушли? Ты смотри, вся земля гильзами усыпана! Сколько, поди, наших полегло! — И Подкорытов опять сыплет непечатными словами.

Вдруг слышится «ччи-ирк!» — звук, который появляется от скольжения железа по камню.

— Стой здесь, я пойду наперехват, — говорит Подкорытов.

Шлёнкин не совсем понимает, что произошло, и замысел Подкорытова ему неясен.

— А ты сам-то куда идти думаешь? — спрашивает он.

— Куда, куда! Слышишь, японцы удирают! — сердится Подкорытов на недогадливого Шлёнкина.

— Ну, валяй, я буду тут, — виновато говорит он, так и не поняв плана, возникшего у Подкорытова.

Тот исчезает мгновенно, словно проваливается в пропасть. Шлёнкин садится, вытирает рукавом пот с лица, настороженно прислушивается.

Появляется месяц, небо светлеет, становится виднее в горах. Воздух содрогается от разрывов гранат, от стрельбы, от эха, которое долго перекатывается по ущельям. Отзвуки боя доносятся то с одного места, то с другого.

Жжвик! Жжвик! — слышит Шлёнкин над головой. Кто-то стреляет рядом с ним. Возможно, Подкорытов. А может быть, это японцы заметили его, Шлёнкина, и стреляют в него. Шлёнкин быстро ползет, прячется в выступе скалы, плотно прижимается к ее прохладному боку.

Он сидит не двигаясь, руки и ноги его затекают, спину ломит. Пули уже не свистят над его головой, но страх обуял Шлёнкина — ему мерещатся японцы и впереди и позади.

Слышится хруст, — вероятно, идет Подкорытов. Шлёнкин приободряется, но выходить из своего гнездовища не спешит. Когда Подкорытов подойдет поближе — он подаст голос. Шаги все отчетливее. Слышно даже, как Подкорытов дышит с шумом и хрипом.

«Что он так? Поймают его японцы на мушку», — тревожно думает Шлёнкин. Наконец в сумраке появляется фигура. Шлёнкин присматривается, и что-то чужое, не подкорытовское, угадывается в этом качающемся из стороны в сторону человеке. Шлёнкин сильнее втискивается в щель, раздвоившую скалу, и смотрит, смотрит изо всех сил на приближающегося к нему человека. Нет, это не Подкорытов! Прокофий строен и высок, а этот идет согнувшись. Он дышит так тяжело, словно где-то поблизости раздувают кузнечные мехи. Подкорытов, как бы он ни устал, какую бы тяжесть ни нес, умеет управлять своим дыханием.

Проходит еще минута, две... Человек начинает поспешно карабкаться на скалу. Шлёнкин сидит метра на два выше человека и хорошо видит его. При свете месяца он различает, что это японец. «Прокофий его спугнул. От него, видимо, он удирает», — мелькает у Шлёнкина в уме. Японец приближается. Шлёнкина трясет. Это уже не страх, у страха есть свои сроки. Шлёнкин волнуется, он

не знает, на что решиться, у него много возможностей — надо выбрать одну из них, а это не просто.

Шлёнкин может выстрелить в японца, он может бросить в него гранату, но не лучше ли немного выждать еще и заколоть японца штыком. Так будет бесшумнее. Выстрел и взрыв могут привлечь других японцев, а воевать одному с несколькими — дело сложное.

Пока Шлёнкин размышляет, на чем остановить ему свой выбор, японец оказывается в трех шагах от него. Как запаленная лошадь, он падает на выступ, который несколько ниже выступа, занятого Шлёнкиным. Привалившись спиной к скале, японец отдыхает.

«Надо захватить его живьем», — думает Шлёнкин. Бесшумно, с великой осторожностью, он чуть подтаскивает свои ноги к обрыву. Сердце стучит, на лбу выступает пот. Пора бы уже прыгать, японец может подняться, уйти дальше, но в душу Шлёнкина закрадывается неприятный холодок. «Ну, прыгай на него, прыгай», — говорит он сам себе, но секунды текут, а он сидит на прежнем месте.

«Да разве так я тогда Соловья ловил?.. Товарищ капитан... Катя... Она за такое не похвалила бы». Он как бы видит на миг ее лицо с большими глазами и слышит ее голос: «Пора!»

Схватив с головы пилотку, он падает на японца всей тяжестью своего грузного тела. Тот делает тщетную попытку сбросить его с себя, но руки Шлёнкина обретают удивительную подвижность и силу. Миг — и пилотка втолкнута в рот врага. Еще миг — и руки японца связаны ремнем. Он бьется и стонет, в горле у него что-то булькает, в животе страшно урчит...

Над Хинганом занимается заря...

## 13

Над Хинганом разгорается заря...

Егоров принимает решение: на командном пункте оставить за себя комвзвода Наседкина, а самому с группой солдат двинуться в горы.

Японцы, по-видимому, отступили, а частью уничтожены, стрельба стала реже. Она доносится теперь всего лишь из двух-трех мест.

Егоров мог бы и не ходить, но ему не терпится, он должен сам увидеть результаты этой горячей схватки с врагом.

С неизъяснимой нежностью думает он о своих солдатах, и тревога за них бьется в его сердце, не утихая ни на одну минуту.

Какое-то внутреннее чутье подсказывает ему, что пора остановиться.

— Кудселькин, просигнальте отбой, — приказывает Егоров.

Кудселькин выпускает ракету. Вспыхнув зелено-голубым светом, она очерчивает полукруг и рвется, освещая бледно-аквамариновым светом гигантские ребра каменного чудовища.

Зеленая ракета — сигнал, означающий, что бой кончен, что если ты жив, то найди в себе силы, невзирая ни на какую усталость или ранение, вернуться к своему командиру. Тут ждет тебя одно из двух: либо отдых, заслуженный тобой тяжким трудом, либо новое боевое дело, которое потребует от тебя еще большего напряжения сил, а может быть, и жизни твоей, вступившей в неповторимую пору самого расцвета...

Егоров стоит, прислушивается, смотрит в темноту, желая во что бы то ни стало пронзить ее своим взором.

— Кудселькин, повторите сигнал, — приказывает он, сам не замечая, как против своей воли подчиняется нетерпению.

Кудселькин понимает, чем обеспокоен офицер. Хребты и скалы здесь высоки, а ущелья подобны колодцу — даже блеск звезд не всегда виден из них, потому что они закрыты туманом.

Кудселькин выпускает вторую ракету. Она взлетает круто и разрывается высоко, под самыми звездами. Теперь сигнал заметит даже тот, кто оказался в этот час на дне самых глубоких щелей.

— Хорошо, Кудселькин, молодец, — говорит Егоров и вытягивает шею, настораживаясь.

Где-то в стороне от него, далеко-далеко, звучат один за другим два выстрела. Это последние выстрелы боя. Наступает тишина, такая же величественная, как сам Хинганский хребет. Кажется, немыслимо ничем поколебать эту тишину, как немыслимо сдвинуть с места могучие скалы хребта.

«Далеко кто-то забрался. Интересно — кто это? Может быть, Викториан Соколков, а вернее Подкорытов... Легконогий Подкорытов», — думает Егоров, дослушав до конца перекаты последних выстрелов.

Светает. Сквозь рассеивающийся сумрак все отчетливее выступают беспорядочно нагроможденные камни. Егоров рассматривает их. Они застыли в самых необыкновенных, причудливых формах. Вот скала, похожая на слона: хобот, широкая спина, клыки, загнутые кверху, только размер этого каменного слона превосходит живого во много десятков раз.

Вот другая скала. В ней много общего... с петухом. Пушистый хвост, распадающийся на несколько перьев, круто изогнутая длинная шея и хищно раскрытый клюв.

А вот тянутся скалы, похожие на трехэтажные дома с крышами самого фантастического рисунка.

Егоров внимательно рассматривает то одну скалу, то другую. При взгляде вниз, в ущелья, замирает сердце. Это при дневном свете. Каково же было здесь солдатам ночью?!

«Как много интересного и увлекательного расскажу я ребятам, когда вернусь в школу», — думает Егоров, и мысль о школе, о том, что после войны он опять встретится с ребятами, рождает улыбку и томительно сладостное чувство.

— Товарищ старший лейтенант, слышали? — спрашивает Куделькин.

Нет, Егоров ничего не слышал: на минуту его увлекли мысли о школе, о своей гражданской профессии.

— А что ты слышал, Куделькин? — спрашивает Егоров, и в голове у него проносится: «Рано я по гражданке затосковал».

— Мне почудилось, товарищ старший лейтенант, что будто где-то в горах звякнуло железо, — отвечает Куделькин.

Другие бойцы, стоящие за Егоровым, подтверждают, что и им это почудилось.

Все замирают на своих местах. Через минуту звяканье повторяется. Егоров посылает двух бойцов пройти по гребню скалы до самого дальнего обрыва и посмотреть, не карабкается ли кто-нибудь на перевал.

Солдаты уходят. Винтовки у них взяты наизготовку — на случай, если там окажутся японцы. Становится

совсем светло. Правда, туман застилает горизонт, но где-то уже восходит солнце, и его лучи покрывают небо нежнейшей позолотой.

Егоров видит, что солдаты остановились и кому-то энергично машут руками. Потом они на некоторое время исчезают под обрывом и появляются вновь.

Их теперь трое. Третьего Егоров узнает по высокому росту. Подкорытов! А где же Соколков и Шлёнкин? Он помнит, что вечером они отправились в горы вместе...

У Егорова больно щемит сердце. Шлёнкин и Соколков, видимо, погибли. Он прибыл в армию вместе с ними, вместе с ними переживал все трудное стояние на границе и любил их. Хорошие солдаты и хорошие товарищи!

«Ничего, ничего, собери нервы в кулак. Может быть, многих ты сегодня недосчитаешь, многих дорогих людей...» — мысленно говорит себе Егоров.

Он так рад возвращению Подкорытова, что бежит навстречу ему. Только теперь Егоров замечает, что Подкорытов тащит за собой на ремне японский станковый пулемет.

На плече у него две винтовки — своя и японская. На поясе болтаются гранаты. На спине коробка с пулеметными лентами.

Лицо Подкорытова от волос до подбородка — в синяках и ссадинах. Руки кровоточат. Он мокрый от пота, и одежда его на прохладном ветерке курится испариной.

Подкорытов останавливается, выпрямляется, хочет отдать рапорт офицеру. Но Егоров хватает его руку и крепко жмет.

— Где Соколков и Шлёнкин? — все еще не выпуская руку Подкорытова, спрашивает он. Нижнее веко его правого глаза подергивается, и Подкорытов видит, сколько живых, трепетных чувств скрыто за этим вопросом.

— Соколков, товарищ старший лейтенант, отстал от нас в самом начале. Он сорвался с выступа и сильно зашиб колено. Шлёнкин был со мной, потом я бросился наперерез японским пулеметчикам, а его оставил на скале. Одного японца убил, а второй скрылся. Я забрал документы, винтовку, пулемет и вернулся на прежнее место. Шлёнкин уже куда-то ушел.

Словно тяжесть сваливается с плеч Егорова.

— Значит, они оба живы!

— Да, были живы.

«Были... Но живы ли они теперь...» — думает Егоров. Он вспоминает, что до сих пор не поблагодарил Подкорытова за успехи в бою, и выражает благодарность солдату громким, немного торжественным голосом — так требуют обстоятельства службы.

Подкорытов от усталости чуть не валится с ног, но благодарность офицера приободряет его, он лихо щелкает каблуками, прикладывает руку к пилотке и говорит бодрым голосом:

— Служу Советскому Союзу!

## 14

Егоров возвращается вместе с Подкорытовым. Солдатам, которые пришли с ним, он приказал разделиться по двое, подняться на господствующие над местностью вершины и указывать дорогу.

Подходя к биваку батальона, Егоров и Подкорытов видят необычную картину: комбат Тихонов обнял Викториана Соколкова и крепко целует его в губы. Возле них стоят парторг Петухов, офицеры и солдаты.

— Спасибо, Егоров! Каких солдат ты мне вырастил! — кричит Тихонов, увидя Егорова.

Соколков застенчиво улыбается, у него кривятся губы: утихшая боль в ноге опять дает о себе знать.

Егоров и Подкорытов смотрят на Тихонова. Майор всегда строг и сдержан. Что же могло так взбудоражить его?

— Соколков истребил четырех самураев, среди них был майор с важными оперативными документами, — сообщает Петухов, заметив вопрошающие взгляды Егорова.

Возле ног Тихонова Егоров видит четыре японские каски, оружие, а начальник штаба лейтенант Власов держит в руках полевую сумку, набитую картами и бумагами.

Прибегает начальник радиостанции. Он докладывает, что дежурный радист начал принимать важный приказ штаба армии. Тихонов и Власов поспешно уходят и скрываются в брезентовой палатке.

Со всех сторон тянутся солдаты. Егоров стоит на каменистой глыбе, смотрит то сюда, то туда. Не только глазами, а всем своим существом отмечает он приход каждого

солдата: «Кукенбаев цел!.. Миронов живой!.. Тимохин невредим!..»

Многие солдаты приносят японское оружие, каски, документы. Вещи как бы обретают язык — они рассказывают о воинской доблести и отваге советских людей.

Появляется сержант Коноплёв. Он весь исцарапан. Брюки и гимнастерка на нем изодраны и висят клочьями, голова обнажена — пилотка, вероятно, потеряна.

Егоров словно замирает весь. Он чувствует, что Коноплёв несет безрадостные вести. Так и есть!

— Товарищ старший лейтенант, Остап Тарасюк сорвался в ущелье и разбился насмерть.

Егоров слушает Коноплёва стиснув челюсти. Он не успевает пережить до конца сообщение сержанта, как поступает новое известие.

Приходит Куделькин. Он докладывает, что, выполняя приказ командира роты, они взошли на одну из вершин и наткнулись на трупы Степана Дьякова и Августа Лациса.

Егоров хмурится, сжимает кулаки. Неужели подобные вести будут поступать и дальше? Вполне возможно. До сих пор не вернулись Терентий Шлёнкин и четверо других солдат. Где же они, почему нет Шлёнкина? Он был вместе с Подкорытовым, и, по его предположениям, ему давно пора быть в батальоне.

Егоров то и дело смотрит на часы. Время движется неимоверно медленно. Приходят еще два солдата, потом еще два. Теперь нет только Шлёнкина. Но, может быть, и он пал той же смертью, что и его товарищи?

Егорову пора идти к майору с докладом, однако он выжидает. Да, нелегкое дело ночной бой. Без потерь не обошлось, но дорого заплатили японцы за гибель наших товарищей. Двадцать семь японских винтовок лежат у ног командира третьей роты.

## 15

Внимание Егорова привлекает крик. Бойцы сгрудились возле дороги, пробитой вчера саперами и проторенной тягачами и автомашинами артиллеристов. Егоров слышит, что все наперебой произносят имя Шлёнкина. Что там случилось? Он покидает валун и почти бежит к месту, где столпились солдаты.

Радостный возглас вырывается из его груди. На перевал поднимается Шлёнкин, да не один — впереди него идет японский унтер-офицер.

Шлёнкина и пленного окружают солдаты. Терентий дышит тяжело, облизывает запекшиеся губы. Японец дрожит, смотрит исподлобья на солдат и Егорова.

— Ну где же ты запропастился? Едва дождались, — говорит Егоров первые слова, пришедшие ему на ум.

— Заплутался малость, товарищ старший лейтенант. А потом, разве побежишь с этим чертом, — Шлёнкин слегка кивает головой на пленного.

— Ах ты, «система»! — ласково восклицает Егоров и дружески смеется.

Шлёнкин тоже улыбается, он кого-то ищет глазами в толпе. Один Соколков догадывается, о ком думает в эту минуту Шлёнкин. Но, увы, капитана медицинской службы Тарасенко здесь нет. Она в санитарной палатке перевязывает руку замполиту.

Буткин наотрез отказался покинуть батальон. Пуля не затронула кости, но рана есть рана, и Тарасенко колдует над ней через каждые два часа. «Ну ничего! Все равно же она будет знать об этом», — думает Шлёнкин с радостью.

Егоров ведет Шлёнкина и пленного японца к командиру батальона, но войти в палатку они не успевают. Тихонов выходит из нее им навстречу. Власов, как всегда, следует за ним.

Вид у Тихонова озабоченный, и Егоров догадывается, что штаб армии преподнес батальону какую-то новую и, видно, нелегкую задачу.

Тихонов останавливается, пораженный неожиданной картиной: Шлёнкин японца конвоирует.

На загоревшем, озабоченном лице комбата появляется усмешка, глаза молодо загораются, и некрасивое, широкое лицо становится неузнаваемо симпатичным.

— Что, он сам пришел или ты его привел, товарищ Шлёнкин? — спрашивает комбат.

— С выступа на него прыгнул, товарищ майор.

— С выступа? Да ведь мог бы в пропасть вместе с ним сорваться, — говорит майор.

Шлёнкин молчит. Что он может сказать? Сорваться с выступа он, конечно, вполне мог, но разве это достаточное основание, чтобы упустить врага?

— Молодец! Быть тебе орденоносцем! — говорит Тихонов и приказывает Власову вернуться в палатку и допросить пленного.

Через полчаса допрос заканчивается. Пленного передают под особую охрану. Тихонов приказывает Власову построить батальон.

Никто из солдат и офицеров этого не ожидает. Все убеждены, что после ночи, проведенной в тревоге, в бою, батальон получит заслуженный отдых. Зачем же потребовалось комбату построение? Может быть, он собирается сообщить что-нибудь важное о допросе японца? Нет, комбат говорит о другом.

— Только орлы, могучие вольные птицы, обитали на Хингане. Советские воины поднялись выше орлов. Честь и хвала вам, славные солдаты Страны Советов!

Тихонов сообщает, что японский император безоговорочно капитулировал перед союзниками, но военщина саботирует капитуляцию, продолжает сопротивление. В Маньчжурии повсеместно идут бои. Есть одно верное средство быстро окончить войну — утроить нажим на врага, ускорить продвижение вперед.

Все понимают, что это значит: на сон и отдых сегодня нет никакой надежды.

— Родина ждет от нас подвигов, и мы способны эти подвиги совершить. Неправда ли, товарищи? — спрашивает Тихонов.

И все кричат в один голос: «Правда!» Кричат и те, кто полчаса назад изнемогал от усталости.

Колонна начинает движение. На первом же километре ее встречают клыкастые, подернувшиеся мхом скалы.

Солдаты расстегивают гимнастерки, засучивают рукава.

## 16

В конце августа сорок пятого с карты Азии исчезло Маньчжоу-Го — марионеточное государство с игрушечным императором, японским ставленником Пу И во главе. Сам император, худощавый человек в очках, похожий своим обликом на засидевшегося на одном курсе студента-неудачника, был пойман на аэродроме при попытке к бегству.

Весь мир затаил дыхание перед свершившимся чудом. Творцом чуда была Советская Армия.

В считанные дни советские войска преодолели безводные степи Монголии, форсировали неприступный Хинганский хребет и вышли на побережье Желтого моря.

Танковые корпуса могучим тараном раскроили Маньчжурию надвое. Армады тяжелых воздушных кораблей ринулись на важнейшие пункты страны. В Мукдене, Порт-Артуре и других городах высадились десанты советских воинов.

Война Японии с Америкой и Англией, продолжавшаяся уже около четырех лет, закончилась полным разгромом Японии. Миллионы людей, ввергнутые японскими империалистами в страшные страдания, благодаря вмешательству Советского Союза обрели мир.

К исходу августа батальон Тихонова преодолел хинганские крепости, миновал песчаные просторы Чахарской провинции и вступил в районы, густо населенные китайцами...

...Утро. Солнечное, лучистое. С земли поднимается белая как молоко испарина. Воздух насыщен запахом сырой земли. Зелень всюду свежая, ласковая, словно только взошла — чувствуется, что тепла и влаги здесь избыток.

Впервые за весь многодневный поход батальон идет по старой, наезженной, дороге. Дорога ведет в китайский город.

Встречи с китайцами все ждут с большим нетерпением. Разговоры о тяжкой судьбе этого самого многочисленного народа на земном шаре не сходят с уст.

Офицеры то и дело смотрят на карты, подсчитывают, сколько километров осталось пройти до города.

По данным, сообщенным по радио из штаба армии, в город сброшен парашютный десант. Японский полк, стоявший в этом пункте, бежал в неизвестном направлении. Местопребывание его до сих пор не обнаружено. Командованию полка либо ничего не известно о приказе императора о полной капитуляции, либо полк решил, невзирая ни на что, сопротивляться.

Осторожность никогда не мешает, в таком случае — тем более. Батальон сопровождают усиленные дозоры, впереди него — разведка.

Дорога бежит с холмика на холмик, а когда на ее пути встречаются сопки, она огибает их и стелется по распадкам.

Первая встреча с китайцами происходит совершенно неожиданно. В одном из распадков бойцы видят толпу полуголых людей. Люди бегут к дороге, что-то кричат, машут руками. Среди них старики и старухи с изъеденными трахомой веками, мужчины и женщины среднего возраста, страшные от худобы, и дети, начиная от грудных и кончая подростками, — все с распухшими животами.

На многих из человеческой одежды только самодельные шляпы из соломы чумизы. Большинство мужчин и женщин обнажены, и их бедра прикрыты тряпицами и козьими шкурами.

Весь облик людей таков, что не требуется никаких объяснений, чтоб представить степень их нищенства.

Китайцы выбегают на дорогу, становятся на колени и, воздев руки кверху, кричат тоскливыми, плачущими голосами. Одни из них тычут себя в голые, припухшие животы, другие схватились за тряпицы и показывают, как истлело это подобие одежды. Не нужно знать китайского языка — можно и так понять, что просят эти люди одежду и пищу.

— Кушо! Путо! Кушо! Путо! — слышатся пронзительные голоса.

Слова эти не китайские, не русские — они изобретены голодными, раздетыми китайцами по каким-то одним им известным ассоциациям.

У Тихонова влажнеют глаза, и он с ожесточением говорит:

— До чего же довели самураи людей! Это же первобытные!

Батальон останавливается. Идти дальше невозможно — дорогу преграждает живая стена.

Петухов входит в середину толпы. Его сердце не выдерживает: он вытаскивает из вещевого мешка гимнастерку, пару белья, портянки, сухари, банки с консервами и отдает все это в руки, протянутые к нему.

Солдаты спешат воспользоваться примером парторга. Десятки китайцев и китаянок на глазах у всего батальона обряжаются в гимнастерки и рубашки красноармейцев,

жадно грызут сухари, острием камней раскрывают жестяные банки.

Благодарности китайцев нет предела. Они радуются подаркам, как дети, кричат еще громче.

Два старых китайца взяли Петухова за руки и, скаля желтые зубы, говорят ему что-то, заглядывая в глаза. Петухов понимает, что они благодарят солдат за отзывчивость. Ему тоже хочется сказать китайцам что-нибудь важное и значительное.

— Это разве жизнь, друзья? Это же прозябание! И нужда, видать, крепко держит вас. В одиночку вам ее не побороть. Коллективным трудом надо нужду выживать. Земли у вас неплохие, солнца и влаги полный достаток.

Китайцы, окружившие его, слушают с серьезным видом, догадываются, что он желает им добра.

Слушают Петухова и солдаты. И никто даже не улыбнется, что парторг проповедует колхозный труд китайским крестьянам.

Его мысли совпадают с мыслями каждого из солдат. Ну конечно же, раз нужда одолевает, значит, бери ее за глотку коллективным трудом, перестраивай жизнь на началах социализма!

— Японца мы прогнали, землю вашу от врага освободили — берите теперь свою судьбу в собственные руки, — говорит Петухов.

Он дружески треплет одного китайца, другого. Те улыбаются, поднимают руки, оттопыривают большой палец и кричат слова восторга. К их крику присоединяются женщины, детишки. Провожаемый этими криками, батальон идет дальше.

## 17

Китайские города имеют свои особенности. Их опоясывают глинобитные стены толщиной в полметра и больше. Трудно объяснить практическое значение этого устройства при настоящем укладе жизни китайцев, но стены эти берегут и поддерживают — такова традиция. Войти в город можно только в ворота — они построены в строгом соответствии со сторонами света.

Батальон Тихонова входит в западные ворота. Толпы народа встречают советских воинов восторженными криками. Тут публика более разношерстная, чем там, на по-

лях. Наряду с беднотой в толпе мелькают синие шелковые халаты городской знати — арендаторов, торговцев, купцов.

Среди соломенных широкополых шляп, защищающих от солнца не только головы, но и голые плечи батраков, немало фетровых шляп серого, черного, коричневого цвета: встречать советские войска вышла и интеллигенция города. В руках у встречающих красные и синие флажки, сделанные из цветной бумаги, портреты Сталина, нарисованные местными художниками.

Солдаты осматривают узкие, извилистые улицы. Всех изумляет теснота, в какой размещены жилища, и необычайное расположение их. Окна у домов обращены во дворы, на улицу выходят ровные, гладкие стены. Это придает улицам и строениям нежилой вид и кажется таким же противоестественным, каким бы казалось человеческое лицо, будь оно без глаз.

Батальон занимает пустующий военный городок, недавно лишь отстроенный японцами. Как хорошо после долгой жизни под небом почувствовать над собой крышу жилища!

Комендант города, молодой капитан с пятью медалями на груди, сброшенный сюда с небольшой группой парашютистов, рассказывает Тихонову и Буткину обстановку.

Китайское население ожесточено против японцев и при каждом удобном случае расправляется с ними. Однако и японцы не остаются в долгу. Полк, стоявший здесь, обитает где-то в горах, в окрестностях. Каждую ночь в городе возникают то пожары, то взрывы. На днях серьезно повреждена электростанция. Надо бы истребить японцев, но что может сделать горсточка бойцов против полка?

Капитан не успевает рассказать всего. Вбегает лейтенант и с ним китаец. Оба сильно взволнованы. Лейтенант оказывается переводчиком. Он указывает на китайца, сообщает майору причину его прихода сюда.

За городом, в ближайшей деревеньке, разместилась японская рота, вышедшая только что из гор. Китаец берется довести наших бойцов самым коротким путем и скрытно — по густым высоким зарослям гаоляна.

Тихонов с сожалением вспоминает об артиллеристах. Вот когда они могли бы серьезно помочь. Перевалив через Хинган, артиллеристы вынуждены были остановиться: кончилось горючее. Теперь они горючее, видимо, давно получили — передвижные базы с бензином были на под-

ходе. Однако батальон не нагнали, и это значит, что они получили новый маршрут.

Тихонов вызывает к себе командиров рот, советуется с ними. После непродолжительной беседы принимают план Егорова. Ему же поручено и осуществить его.

Кроме своей роты Егоров получает серьезные дополнительные силы: взвод минометчиков и взвод автоматчиков.

Гаолян действительно вымахал такой, что человек может в нем потеряться. Китаец и Егоров идут впереди, позади них японский унтер, захваченный на Хингане Шлёнкиным.

У японца глаза завязаны платком. Он не должен знать ни местности, ни сил, которыми располагает Егоров. Японца ведут под руки.

Китаец ничего не прикрасил. Деревенька стоит в лощине, и подходы к ней хороши — невозможно придумать лучше. Посевы гаоляна примыкают к самым дворам. Кроме того, деревенька прикрыта с двух сторон тополевой рощицей.

При подходе к деревеньке удается самое главное — скрытность. В армии ее называют первым условием боевого успеха.

Свыше километра ползли солдаты на четвереньках, и не зря. Они видят теперь врага своими глазами. В одном из дворов японцы из котелков едят палочками рис.

Егоров поднимает пленного унтера с земли, снимает повязку и слегка толкает его в спину:

— Иди!

Пленный идет. Вот он входит во двор, говорит что-то солдатам, один из них бежит в глубь двора и возвращается с офицером. Простым глазом невозможно рассмотреть его знаки различия, но в бинокль Егоров видит, что это капитан.

Унтер подает ему бумажку — ультиматум: сложить оружие и организованно сдаться в плен, в противном случае японцам грозит уничтожение. Советские бойцы возле, и их оружие наготове.

Офицер что-то говорит унтеру, потом широко размахивается и бьет его по лицу. Унтер катится кубарем. Офицер размахивает рукой, солдаты мечутся.

Егоров понимает, что офицер из числа тех фанатиков — самураев, которых убеждает только оружие. Он приказы-

вает дать залп из минометов. Одна мина разрывается над двором. Офицер и несколько солдат падают, а десятки других поднимают руки, бросают оружие, многие отчаянно машут белыми платками.

Во двор врывается штурмовая группа. Егоров видит в бинокль возбужденные лица своих боевых друзей: Подкорытова, Шлёнкина, Соколкова, Кудελькина...

Вечером Тихонов направляет категорический ультиматум командиру полка. Японцы, только что сдавшиеся Егорову в плен, доставляют ультиматум в горы. А рано утром прибывает ответ. Скрывая истинные причины поражения своей армии, полковник Ямаучи витиеватым слогом сообщает, что он не в силах противоборствовать воле императора и готов выполнить все предписания господина советского майора.

## 18

Егоров сидит в комнате, которая некогда была кабинетом японского полковника, и пишет письмо жене.

«Сашенька! Бесценная моя!

Великая победа! Мир во всем мире! Нет, это еще трудно вообразить и в это невозможно сразу поверить.

Я представляю, что творится сегодня у вас на нашей Родине! А у нас-то! Солдаты выучили наизусть правительственное обращение к народу и бесконечно повторяют его, пересказывают друг другу.

Все разговоры об одном: о возвращении домой, о новой жизни, которую несет нам мир, завоеванный тягчайшим трудом миллионов советских людей...»

Стучат в дверь. Егоров, не отрываясь от письма, говорит:

— Войдите.

Входит Шлёнкин. На нем новое обмундирование. Он тщательно выбрит, подтянут, весь какой-то праздничный, сияющий. На груди у него блестит орден Красного Знамени, врученный сегодня командующим, прилетавшим сюда на самолете.

— Кажется, оторвал вас от работы, товарищ старший лейтенант?

— Пустяки. Присаживайтесь, Терентий Иванович.

Но Шлёнкин не садится и взволнованно топчется.

— В партию я надумал вступать, товарищ старший лейтенант. Вы мне рекомендацию не дадите? Сегодня такой исторический день...

Егоров одобряет намерение Шлёнкина и берет чистый лист бумаги, чтобы писать рекомендацию.

## 19

Весть о возвращении на Родину привозит Петр Петрович Буткин. Вызванный в штаб армии по случаю присвоения звания майора, он появляется в новых погонах с двумя просветами и большой звездой. Он так сильно обрадован приказом о выезде в Советский Союз, что поздравления с новым званием принимает как-то слишком обыденно и на ходу.

Весть, привезенная Буткиным, вызывает ликование. Возникает митинг.

Когда митинг заканчивается, батальон выстраивается и начальник штаба сообщает порядок погрузки в вагоны.

Всю ночь солдаты и офицеры работают не покладая рук. Об отдыхе никто не поминает. Воодушевление так велико, что даже самые заядлые курильщики, вроде Терентия Шлёнкина, в другое время не выпускающие изо рта трубки и цигарки, забывают о табаке.

Рано утром Тихонов с Буткиным обходят вагоны и тщательно проверяют готовность эшелона к отправке. Все сделано добросовестно, аккуратно и гораздо быстрее, чем предполагалось.

Тихонов направляется к военному коменданту и просит ускорить подачу паровоза.

Солдаты сидят по вагонам, с нетерпением ждут отправки.

Несмотря на то что ночь прошла в напряженной работе, без сна, ложиться спать ни у кого нет охоты.

И долгожданный, выношенный в мечтах, взлелеянный в задушевных товарищеских беседах час отъезда на Родину наконец наступает!

Горнист играет сбор, но в пронзительных звуках горна слышатся сегодня торжественные и радостные ноты: «По вагонам! По вагонам! И домой! И домой!»

Паровоз дает свисток, вагоны вздрагивают, гремят части сцепления...

С каждой минутой увеличивается число километров, отделяющих батальон от Советской страны. Поезд мчится на юг, к берегам моря, в противоположную сторону от Советского Союза. Китай — страна большая, но железных дорог здесь мало. Чтобы попасть в СССР, приходится делать огромный крюк: ехать сотни километров до Цзиньчжоу, а оттуда поворачивать на север к Мукдену.

Стоят теплые, солнечные дни, хотя октябрь уже на исходе. На полях много зелени. Лист на деревьях по-летнему свежий и поблескивает на солнце клейким глянцем.

Поезд то и дело ныряет в глубокие ущелья, мчится через закопченные тоннели, грохочет на мостах, пересекающих песчаные русла испарившихся речек. Иногда дорога на десятки километров тянется по мостам — так много тут речек.

В ливни русла наполняются водой и становятся бурными, как горные потоки. Если ливни переходят в затяжные, речки выходят из берегов, топят деревни, смывают или забрасывают илом посевы чумизы, гаоляна, овощей, и тогда тысячи людей умирают голодной смертью — о них некому позаботиться: правительство глухо и немо к нуждам народа.

Из открытых теплушек солдаты осматривают китайские просторы. Ласкова и благодатна китайская природа. Но ничто не скроет ужасной доли китайского крестьянина. Солдаты разглядывают маленькие деревеньки с глиняными конурками вместо домов. Не от хорошей жизни люди теснятся в них. На засеянных полосках копошатся согбенные фигуры китайцев. Машин совершенно не видно, даже ослов и тех единицы. Люди переносят собранный урожай на себе в корзинах, на длинном, гибком шесте.

Как же, должно быть, сильно тоскуют плечи китайских тружеников по отдыху! В теплушках говорят об этом, и в разговорах все чаще и чаще упоминается Родина. Там даже в самых далеких уголках работают тракторы и комбайны, автомобили снуют по дорогам.

От Цзиньчжоу эшелон поворачивает на север. Солдаты проезжают через большие и маленькие города. И тут они опять видят горькую долю китайского труженика. На станциях обитают толпы голодных, оборванных людей. Из беглых разговоров с ними, при помощи жестов, удается узнать о таких вещах, в которые советскому человеку

трудно поверить: многие китайцы не могут найти работы в течение десяти — пятнадцати лет!

Города поражают солдат своими контрастами. Лучшие здания собраны в одном месте. Рестораны и гостиницы, магазины и конторы сияют золочеными вывесками, зазывают и манят к себе разноцветными огнями. Сюда стекаются коммерсанты, крупные чиновники, помещики, иностранные агенты — кто на чем: на автомобилях, привезенных из Европы, на лошадях английской породы, на рикшах — людях, запряженных в тележки.

Но вот эшелон отходит от больших вокзальных помещений и открывается другое лицо города: серые стены, а за ними глиняные каморки, стиснутые в умопомрачительной неразберихе.

Здесь живут многие тысячи людей, составляющих основную массу населения городов.

Больше недели длится переезд по тряским, давно не ремонтированным дорогам Маньчжурии. За эту неделю солдаты узнают много нового. Своими глазами они видят звериное лицо капитализма. И еще нагляднее становится им все содеянное в Советской стране. Китайцы провожают эшелон дружескими приветствиями. На всех станциях, и больших и маленьких, солдатам дарят то овощи, то яйца, то длинные китайские трубки. Велика любовь китайских тружеников к стране, показавшей путь к счастью миллионам людей.

На севере Маньчжурии поливают дожди и дуют холодные ветры. По ночам солдаты топят печки, и эшелон движется, расстилая потоки пляшущих искр. Но ненастье не уменьшает праздничного настроения: Родина все ближе и ближе.

Во время одной стоянки в офицерский вагон входит Власов. Он сообщает, что до первой советской станции остается тридцать километров. Егоров и Тарасенко садятся к столу, раскрывают блокноты и готовят телеграммы. Послать их — это первое, что необходимо проделать на советской земле.

Егоров пишет жене: «Безумно счастлив оказаться на родной земле. Крепко целую тебя и Ниночку. Обнимаю всех друзей и близких».

Тарасенко старательно выводит: «Казань, медицинский институт, профессору Тарасенко. Папа, родной мой, шлю тысячи нежных поцелуев и верю в скорую встречу. Твой Котенок».

Тарасенко вырывает листок из блокнота и, подумав, начинает писать еще одну телеграмму: «Казань, факультетская клиника, ассистенту Колокольцеву. С первых километров родной советской земли шлю тебе горячий привет и самые лучшие пожелания. Живу мечтами о скорой встрече. По-прежнему твоя Катя».

В соседних вагонах солдаты заканчивают последние приготовления к встрече с Родиной. Шлёнкин торопливо добривает щеки. Соколков и Подкорытов бережно протирают платками ордена Красного Знамени. Трубка и Куделькин пришивают к гимнастеркам свежие подворотнички.

На последней стоянке, перед переездом границы, в вагон запрыгивают Тихонов, Буткин, Петухов и Егоров. Солдаты поднимаются, приветствуют офицеров. Тихонов говорит дневальному:

— Раскройте вагон шире. Сейчас мы увидим сопки, окружающие падь Ченчальтюй.

Солдаты прерывают свое занятие.

Шлёнкин полотенцем вытирает со щеки мыльную пену и торопится к товарищам, которые сгрудились возле комбата.

Поезд катится между гор, подступающих к самому полотну железной дороги. Потом он вырывается на обширную поляну, и все видят в стороне, вправо от поезда, знакомые макушки сопок.

— Смотрите, памятник Симочкину цел! — говорит Тихонов, опуская бинокль.

Воцаряется молчание, полное глубокого значения. Тихонов полуоборачивается и смотрит на построжавшие лица солдат.

Падь Ченчальтюй! Сколько воспоминаний связано с ней у каждого из них! Сколько и радостных и горьких минут было пережито здесь, среди суровых, скучных сопок! И не зря. Долг перед Родиной исполнен до конца. Враг разгромлен.

Эшелон не остановится на разъезде. Путь эшелона лежит дальше.

Поезд изгибается, и все видят впереди пограничную арку и советских пограничников в зеленых фуражках. Подкорытов первым прерывает молчание. Звонким тенорком он начинает солдатскую песню. Ее подхватывают все, подхватывают дружно, как бы одним дыханием:

Забайкалье, Забайкалье,
Забайкалье — край родной.
Породнились с Забайкальем
Офицер и рядовой.

*Забайкальский фронт — Иркутск — Москва*

*1945—1947*

## СОДЕРЖАНИЕ



---

*Георгий Мокеевич Марков*
ОРЛЫ НАД ХИНГАНОМ

Редактор *И. Ф. Петрова*
Художник *Н. Н. Захаржевский*
Художественный редактор *Г. В. Гречихо*
Технический редактор *Н. А. Миронова*
Корректоры *С. З. Михайлина, Т. И. Артамонова*

Сдано в набор 15.1.75 г. Подписано в печать 27.3.75 г.
Формат 84×108 1/32. Печ. л. 6 1/4 Усл. печ. л. 10,5. Уч.-изд. л. 10,816
Бумага типографская № 2 Тираж 100 000.
Изд. № 4/1816. Цена 52 коп. Зак. 1089.

Воениздат
103160, Москва, К-160
1-я типография Воениздата
103006, Москва, К-6, проезд Скворцова-Степанова, дом 3


Г. МАРКОВ * ОРЛЫ НАД ХИНГАНОМ